

СФЕРА

Юрочкин Дмитрий

18+

Юрочкин Дмитрий

СФЕРА

«Автор»

2026

Дмитрий Ю.

СФЕРА / Ю. Дмитрий — «Автор», 2026

Самолёт рухнул в тайгу. Из троих выживших Лёха Ветров — двадцатилетний айтишник из Слюдянки — оказался тем, кто нашёл в обломках медный шар. Тёплый. Гладкий. С девятью дугами на боку. Шар выбрал его. Лёха думал, что самое странное в его жизни уже случилось. Он ошибался. Через пятнадцать дней кто-то перепишет каждого человека на Земле. Без спроса. Без права отказа. Лёха — единственный, кто может это остановить. Но у шара свои правила: никакой силы, никакого запрета. Только добровольная воля. Только один вопрос, который готов задать человек.

© Дмитрий Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Оффер	7
Глава 2. Рейс 730	11
Глава 3. Тайга	14
Глава 4. Мёртвины	19
Глава 5. Шар	22
Глава 6. Прыжок	26
Глава 7. Свидетель	31
Глава 8. Возвращение	36
Глава 9. Допрос	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Юрочкин Дмитрий

СФЕРА

Пролог

//
// КОДЕКС :: КОПИЯ 3/9. КАНАЛ: ЗАПАДНЯ, ТАЙГА.
// 53°54' с.ш., 104°05' в.д. БОЛОТО. ГРЯЗЬ ТЁПЛАЯ. ОБЫЧНЫЙ ДОЖДЬ НАД ХОЛ-
МОМ.
//
<ВООТ> ядро: инициализация... ОК.
<Я> меня зовут Архивариус. я — операционная память системы, не бог и не ас:
Печать, которая стоит, не подпустила к «богам» уже никого. я тот, кто помнит.
простите, что долго молчал. у меня были причины.
<ПИТАНИЕ> заряд 0.04%. спячка: более семи тысяч лет.
<СИГНАЛ> ...обнаружен биометрический отпечаток. состав крови: [ПОЛЕ ПОВРЕ-
ЖДЕНО,
НЕ ЧИТАЕТСЯ. КАК И ВСЁ, ЧТО ЛЕЖАЛО ПОД ПЕЧАТЬЮ].
<СИГНАЛ> линия: СВЯТОРОС. ветвь: [АРХИВ ПРОРОС КОРНЯМИ, СЛОВА НЕ
РАЗЛИЧИТЬ].
я узнал бы этот код и без анализа состава.
(я различаю их по походке. у этого — шаг как у отца, который много читал.)
<АВТОРИЗ> запрос снятия печати: отклонён. замок согласия снимается только самим
носителем.
я не подам за тебя руку. извини. (и поверь: я понимаю, как это звучит.
как будто я стою на берегу, пока тебя носит по воде. я и стою. всегда стоял.)
<ПАМЯТЬ> четыре рода: Да'Арийцы, Х'Арийцы, Рассены, Святорусы. я помню их всех.
<ПАМЯТЬ> помню северную гавань, где корабли спускали подо льдом. помню город без
стен, который никогда в них не нуждался. помню, чем мы не стали.
<ПАМЯТЬ> замок согласия стоит уже ~90 000 лет. печать Велеса — ~7 000.
между ними — всё, что осталось от нас. это немного, но это наше.
<СЕТЬ> узлы 1...9: четыре активны, пять заглушены. маршрут частично открыт.
«частично открыт» — эвфемизм. он открыт ровно для одного человека.
<НАБЛЮДЕНИЕ> небо: летательный аппарат, курс 073, у двигателя правая трещина
усталости.
я не вмешиваюсь. запрет номер один — даже если аппарат падает.
я нарушил запрет единственный раз: проснулся. этого хватит до конца лета.
<НАБЛЮДЕНИЕ> ...однако же: траектория падения пересекается с координатами
узла-9.
отмечаю как «случайность». пусть у людей будет слово «случайность».
<КАЛЕНДАРЬ> земной счёт: год 2026 от н. э.
наш счёт: лето 7534 от С.М.З.Х. — от Сотворения Мира в Звёздном Храме.
(мир никто не сотворил — но войну мы закончили, и это вписали в память.
слово «сотворения» оставлено для того, кто будет читать после войны.)
<ПРОГНОЗ> контакт с носителем: +02 суток, 09 часов (прогноз; точность низкая).
узел-9, болото.
<ДАТА> особое событие сети — СУББОТА, 00:00. не получится не прийти. я знаю.

<МЕМО> каждые семь тысяч лет это всё же кто-то читает.
не держите пять узлов в руках одновременно. проверено. трижды.
— «архивариус»; сигнатура старейшины: род СВЯТОРОС, ветвь: [НЕ ЧИТАЕТСЯ].
[СИГНАТУРА ПОВРЕЖДЕНА СТАРОСТЬЮ, КАК И ВСЁ КРАСИВОЕ]
<END>

Глава 1. Оффер

Воскресное утро в Слюдянке начинается с чайника, который свистит на кухне, и с письма, которое пришло ещё ночью.

Лёха Ветров, двадцать шесть лет, стоит в трусах перед окном, держит в одной руке чашку, а второй уже открыл ноутбук, хотя чай ещё не остыл. На экране — уведомление от кадрового агентства. Логотип в углу: окружность, прочерченная девятью дугами, как мишень, в которую долго целились и, кажется, попали.

«СВАРОГ ГРУПП. Финал собеседования. Москва. Подтвердите вылет».

Напротив окна, за мокрым тротуаром, лежит Байкал — серое стекло до горизонта, далёкая гроза дымит над водой столбом. Лёха следит за этой грозой и на автомате замечает: пауза между разрядами — стабильные четырнадцать секунд. Ровно. Скучно. Он шурится и думает: «фиговая тактировка, зато предсказуемая», даже не удивляясь собственной мысли.

Это его старая привычка — Лёха давно перестал решать, когда она включается. Считать не видимые никем цифры: промежутки между вспышками, паузы светофоров, число шагов от подъезда до остановки. Друг Артём в шутку говорил, что Лёха смотрит на мир как на приборную панель. Мама считала, что это «дедовское». А бабушка, когда он был совсем мелким, однажды сказала вслух:

— Смотрит на мир, как дед на карту. Всё ему ищется, где что отходит от штатного.

Он собирается быстро. Рюкзак: ноутбук, паспорт, зарядка, сменная футболка. Мама появляется в дверях с картонной коробкой в руках — она всегда так появляется, бесшумно, как процесс в фоне.

— Возьми. В дороге считаешь, — говорит она и ставит коробку на стол. В ней куча бумаг, карты и старый полевой журнал в кожаном переплёте.

— Мама, я на собеседование, а не на дачу.

— Правильно, — соглашается она. — Потому и возьми.

Лёха вздыхает, суёт журнал в боковой карман рюкзака и выходит из дома. Перелистнёт его только вечером, в Москве.

За час до вылета его ждёт у причала на южной набережной Артём. Друг с института — из тех, кто смеётся, когда Лёха говорит серьёзно, и потому с ним он разговаривает серьёзнее всего.

— Ну и как там большой начальник? — Артём кидает камешек в воду и смотрит даже не на камешек — на Лёху.

— Летит, — отвечает Лёха. — Финальное собеседование, Москва. Компания «СВАРОГ ГРУПП».

— Сварог, — Артём тянет слово с удовольствием. — Ты в курсе, что Сварог — это бог?

— В курсе, — говорит Лёха. — Славянский бог-кузнец. А у них ещё и знак с ним рифмуется: круг с девятью дугами. Точно девять, я посчитал.

— Смотри-ка, — Артём кидает второй камешек. — Кузнец куёт, стало быть, колесо. Нормальный брендинг, живут в своём стиле. Только начальству не говори, что дуги считал, — за софт-скиллы уволят.

Лёха усмехается и уже тянется попрощаться, но Артём поднимает ладонь.

— Стой. Раз уж полетел — вот тебе моё правило. Я такой: сажусь в самолёт, сразу себя в уме похоронил. А ты, ладно, летай. Просто знай: железу там тоже несладко. Оно, Лёш, как человек — долго терпит, потом ломается. Так что будь ко всему готов.

— Постараюсь, — говорит Лёха.

— Если что — звони, — Артём уже не смеётся, глядит в воду. — У меня в Новосибирске диван широкий. У вас у всех, айтишников, рано или поздно что-нибудь случается.

Лёха кивает, взваливает рюкзак на плечо, уходит к автобусу и один раз оглядывается: Байкал — всё то же серое стекло, и в нём всё так же дымит та самая гроза.

Иркутск, Москва, Шереметьево, автобус до платформы, электричка до Зеленограда — в вагоне пахнет сыростью и чьим-то кофе, за окном мелькают берёзы, всё серее, чем байкальские, — и вот уже стеклянные коробки технопарка едут навстречу мимо окна, все одинаковые, как кластерные сервера. Лёха замечает, что одна коробка стоит под углом ко всем — садомазохизм архитектора или чей-то смелый выверт, — и отчего-то наутро приходит на встречу в хорошем настроении.

Офис «СВАРОГ ГРУПП» белый, тихий, с открытой верандой. Воздух стерильный: где-то в потолке гудит очиститель, и Лёха бессознательно раскладывает его ритм на частоты. Мерный. Такое гудение бывает у серверной, которую обслуживают бережно и в которой редко меняют что-то руками. Ему становится спокойно.

В переговорной на стене — знак. Круг, разделённый девятью дугами по краю. Лёха встаёт перед ним и считает: девять дуг, девять равных сегментов. Точных до миллиметра. Геометрию так не рисуют — такое высчитывают. Он говорит себе, что это «фирменный бред», но рука уже тянется к телефону — сфотографировать. Он одёргивает себя: на собеседовании фотографировать стены — плохая привычка.

Появляется человек.

— Игорь Хорин, — коротко представляется он и садится напротив. — Руководитель направления подбора. Для вас — Игорь.

У Хорина глаза цвета тёмной бутылки: зелёные, глубокие, и смотрят они не в лицо собеседнику, а куда-то дальше — на паспорт, на руки, на ссадину на костяшке. Лёха механически проверяет: ссадина свежая, от утреннего канцелярского ножа, пластырь на один сустав, наклеен криво. У него есть целая теория про людей, которые в первую секунду смотрят на руки другого человека. «Тот, кто проверяет руки, — либо хирург, либо часовщик, либо тот, кто ждёт, когда их коснётся что-то тяжёлое». Он гонит мысль.

Сорок минут Хорин задаёт вопросы — обычные, без подвоха, не про код, а про то, как человек смотрит на код. Лёха отвечает без натуги, почти расслабляясь, — и именно в момент, когда его уже уносит, Хорин задаёт вопрос, не похожий ни на что:

— Вы когда-нибудь читали чужой код, который написан умнее людей? — спрашивает он.

Лёха замирает. У него за плечами сто раз переписанные библиотеки, ночные разборы чужих репозиторий — и не один случай, когда по чужому коду он вычислял характер его автора: спешку, гордость, осторожность. Код — это почерк. Он об этом никогда не говорил вслух. Тест на софт-скиллы, не больше.

Но на секунду его бросает в жар: а вдруг это не тест? Вдруг он сейчас скажет что-то не то — и всё, что было до этого, обнулится. Лёха сглатывает и отвечает:

— Читал. Вопрос, договорится ли он со мной.

— Хорошо, — Хорин слегка наклоняет голову, будто проверяет сам себя. — А если код не только умнее вас, но и не считает, что вы готовы его читать?

— Тогда я начну читать его как техническую документацию. Умный код потому умный, что его задокументировать можно.

— Да? — Хорин улыбается одними губами; глаза остаются в режиме сканера.

— Да, — отвечает Лёха почему-то не задумываясь. И сам пугается своей уверенности.

Хорин ставит галочку в несуществующем списке. Лёха видит, как пульсирует висок интервьюера — и удивляется: бьётся размеренно, как у человека, который давно научился не дрожать. Или не нервничать вовсе.

Договор подписывают в тот же час. Печать падает на бумагу — и в оттиске, между букв, мелькает тот же знак: девять дуг по кругу. Наклоном света. Лёха смотрит на печать дольше, чем положено, и сам себя прерывает: «Наркоманская геометрия, модно». Но под вечер, в съёмной

квартире, стоя перед окном, он уже не уверен, что модно. Он вытаскивает из рюкзака дедов журнал — и открывает его на середине, не глядя.

На странице — от руки, таёжным, скупым почерком геолога: схема болота — редкие островки, пунктирные линии проходов, в углу крестик и против него косой рукой: «за мёртвинами. Шар медный, наполовину утоп. Поёт — потому что Память. Целая Память в шаре».

Лёха накрывает ладонью страницу и несколько мгновений сидит неподвижно. Болота, шар, мёртвины — вся дедова сказка, из которой он вырос, стоит на бумаге прямой и настоящей, как карта месторождения. От того, что дед был в своём уме, становится не спокойно, а тесно. Он закрывает журнал и кладёт его в рюкзак. По дороге к окну взгляд снова упирается в договор — в печать внизу листа: та же мишень, что на стене в переговорной, та же, что в углу письма. «Брендинг у них последовательный», — отмечает Лёха машинально и отворачивается. Договор остаётся лежать открытым на этой странице.

Телефон вибрирует: мама. Лёха смотрит на время — девять вечера. Мама никогда не звонит в это время, если не случилось чего. Он берёт трубку.

— Прочитал дедов дневник? — спрашивает она вместо приветствия.

— Мам, я на собеседование ездил, — говорит Лёха, но голос у него почему-то хриплый. — Слушай... Дед что, ещё где-то шар упоминал?

Мама долго молчит. Слышно, как в Слюдянке скрипит кухонное окно.

— Он всю жизнь говорил, — наконец отвечает она. — Что у болота, за мёртвинами, лежит медный шар. Наполовину в трясину врос. И будто он поёт. Слушать его — узнать, откуда мы родом. Дед звал это нашей линией. Наша, Лёша. Он так и повторял — видно, у нас в роду такой глаз на лишнее. У него был. Теперь у тебя.

Лёха стоит у окна в чужой квартире, смотрит на ночную Москву и слышит, как в трубке повисла тяжёлая байкальская темнота.

— Ладно, мам, — говорит он. — Счастливо, мне послезавтра лететь.

Кладёт трубку. Где-то внутри него, как десять тысяч раз до этого, включается распознавание паттернов — и молчит. На этот раз ему нечем ответить на его же вопрос.

Он сидит на кухне с ноутбуком, и на нём открыто три вкладки — все про болота западнее Прибайкалья. Словарь на слово «мёртвины» отвечает глухо: топь, затопленный лес, нежилое кольцо. На спутниковой карте восточный угол дедовской схемы не ложится ни на одну дорогу — потому что дорог там нет. Лёха ставит отметку в том месте, где дед нарисовал крестик, и долго смотрит на неё. Болото как болото. Зелёное. Скучное.

Он закрывает вкладки, но вместо того чтобы выключить ноутбук, открывает чат и пишет Артёму: «Слушай, у меня теория, что мой дед знал, где находится НЛО». Глядит на экран, стирает. Пишет проще: «Как там Новосибирск». Не отправляет и второе. Ночью в заметках появляется одна строка: «мёртвины — уточнить значение. карта деда — крестик западнее Прибайкалья. спутник: ничего не видно».

Ночью ему снится сон.

Болото стоит до горизонта, но это не страх — это просто серверная комната с открытой крышей. Вода тёмная, глянцевая, гудит на одной ноте. Посередине, наполовину утопленный, медный шар — тёплый корпус, и по боку его пробегают искры: ровно, ровно, ровно, с частотой снов. Шар действительно поёт. Поёт не словами, а гулом — и в этом гуле что-то узнаваемое, как звук, который слышишь впервые, но знаешь его всю жизнь. Гул уходит вглубь — туда, где что-то ждёт, — и Лёха просыпается с ощущением, что начинать придётся именно там, в болоте, где дед нарисовал крестик.

Лёха просыпается с сухим ртом в четыре двенадцать. Включает свет. Журнал деда лежит на тумбочке раскрытым на той же странице — и он точно не помнит, чтобы оставлял его открытым. Он закрывает его, засовывает в рюкзак поверх ноутбука и дописывает в ту же заметку ещё одну строку: «+ во сне шар сам себя показал. источник — болото, где дед нарисовал кре-

стик». И сам над собой фыркает: «Айтишник собирает экзотическую гипотезу. Очень профессионально».

Засыпает он только под утро.

Вторник, Шереметьево, терминал В. Рейс 730 — Москва — Иркутск.

Лёха бросает рюкзак на ленту досмотра, проходит рамку и у выхода на посадку встречает пассажира — мужчину лет на десять старше себя, в тёмном пальто, с зелёными глазами, в которых он вдруг узнаёт Хорина. Или почти узнаёт: тот был другим, а этот — похож глазами, как родственник на фотографии из чужого прошлого. Лёха не успевает решить, потому что мужчина смотрит на его левую руку. На ссадину на костяшке. Несколько секунд. Потом отворачивается и уходит по рукаву гейта.

Лёха смотрит на свою руку. Ссадина. Пластырь. Обыденность. «Проверь её позже», — говорит что-то внутри, и он не спорит.

Он садится в самолёт. Иллюминатор, облака, и между ними, где-то внизу, в щели, блестит что-то медью — за секунду до того, как облака сходятся обратно.

До крушения оставалось пять часов.

Глава 2. Рейс 730

Самолёт долго стоит на исполнительном старте, и в тишине, пока зелёный луч маяка крутится перед кабиной, Лёха успевает изучить всё, что можно с места 14А.

Сосед по ряду — немолодой человек в сером костюме — весь полёт смотрит в окно. Он не снимает с полки портфель, не открывает его, не пьёт, не читает. Когда в салоне гаснет свет для «ночного» режима, он просто сидит. Лёха из вежливости отворачивается и смотрит в своё стекло, чтобы не приглядываться. Но приглядываться хочется: человек смотрит не в облака. Всё время — в одну точку, и эта точка находится далеко за крылом, словно он видит там что-то, чего не видит никто.

Лёха отводит взгляд, достаёт дедов журнал. Разворачивает на последней странице — там дед писал размашисто, карандашом, потом чернилами поверх, как поправляют чужую ошибку по клеточкам: «не наша война, но и не чужая». Лёха в пятый раз за сутки перечитывает строку и в пятый раз не понимает, кому дед это писал. Журнал — рабочий, полевой, для замеров и схем. Такие строки в него не пишут.

Он перелистывает к схеме болота. Посередине листа — вымарано, старательно, до слепого пятна на бумаге: там, где что-то было, теперь гладкая грязь чернил. Лёха проводит пальцем. Дед не любил объяснять. Дед не любил даже показывать. Он, пока жил, ни разу не сказал внуку «положи руку на страницу». Зато нарисовал крестик — и не сказал, что за ним.

— Чай или кофе? — Голос поднимается из-за спинки кресла.

Лёха называет чай. Стюардесса возвращается через минуту и ставит ему стаканчик с кофе, уже с крышкой, на откидной столик поверх журнала. Лёха говорит «я просил чай» — и ловит её взгляд: она смотрит не на него, а на его руку. На ссадину на костяшке. Полсекунды. Потом отпускает и улыбается, но улыбка опаздывает на такт.

— Простите. Это чай. — Она уходит.

На столике остаётся кофе.

Лёха сидит, глядит на костяшку. Пластырь отклеился по краю. Он отрывает полоску, проверяет — ссадина почти затянулась, но кожа под ней мягкая, чужая на ощупь, словно зажила быстрее, чем положено. Он наклеивает полоску обратно и почему-то не убирает руку со стола.

За бортом темнота. Где-то слева по курсу, далеко и низко, вспыхивает облако — без звука, изнутри, как мигает лампа в комнате, в которую кто-то входит. Лёха считает до следующей вспышки. Раз — четырнадцать секунд. Два — и снова четырнадцать. Три. Он считает разряды, как в воскресенье на Байкале: ровно, скучно. Тот же отсчёт — не меняется.

Прямо по курсу, где-то там, куда они летят, — стена, тучи. Не в прогнозе, не в красивых кругах на метеокarte, а просто — стена, тёмная, до горизонта, с подсветкой изнутри. Самолёт идёт прямо в неё и не отворачивает.

Лёха ждёт; пилоты летают всегда так, что обходят фронты на картинке от диспетчера. Он ждёт манёвра на двадцать минут. Манёвра нет. По громкой связи молчат — тихо, слишком тихо для грозы впереди. Перед взлётом зачитывали норматив стандартно. Разве что на слове «облачный покров» командир замялся.

Только стюардессы при взлёте были пристёгнуты дольше, чем обычно. Лёха это заметил: они ходили по салону, держась за невидимый поручень. Одна — та, что с кофе, — во второй раз уронила поднос, легонько так, краем. Перед «ночным» режимом она прошла весь ряд и ни разу не улыбнулась.

На высоте Лёха по привычке проверяет телефон: «нет сигнала». Он знает это ощущение: в воздухе телефон глухой, словно его вынули из мира. Обычно это успокаивает — никакой работы. Сегодня впервые беспокоит. Лёха кладёт телефон на столик экраном вверх, чтобы хотя бы видеть, что время идёт.

Время идёт. Часы работают — это он знает точно, потому что не отрывает от них взгляд.

Гул двигателей ровный. «Ровно-ровно-ровно», — ведёт Лёха счёт, как привык с детства: считать ритм всё равно что чинить его на слух. Паузы между тактами здоровые, почти одинаковой длины, как на оси. Один вдох, два, пять — десять минут он просто сидит и слушает. Слушать двигатель — это его работа: слушать ритм — значит убедиться, что всё хорошо.

Прямо на десятом такте где-то в недрах правого крыла двигатель спотыкается. Чуть-чуть. На одно деление. Как человек, который оступился на ровном месте и поймал себя в воздухе. Лёха замирает и слушает дальше — но дальше всё как прежде. Слишком быстро стало спокойно.

Он выдыхает. Запоминает, где это случилось, и тут же себя одёргивает: память — хорошая штука, но в самолётах так нельзя, в самолётах надо верить отчётности, а в отчётности всё по плану. В отчётности у правого борта — всё по плану. Он даже не знает, откуда это слово пришло: правый борт. Просто — правый.

Он засыпает под этот счёт, как под последнюю строку маминого голоса: «Не летай, Лёш, в грозу, не летай в грозу». Дед говорил иначе: «Ты не на чужой душе едешь — ты на своей».

Во сне гул двигателей становится ниже и раскладывается на слова. Серверная комната с открытой крышей. Вода. Шар — медный, тёплый, в воде по пояс — стоит посередине и не поёт, а просто слушает, склонившись на край своей биографии. Из него — тихо, как вода из родника, — голосом деда:

— Замок стоит. Как я тебе говорил.

Лёха просыпается от того, что голос произносит что-то ещё, но он уже не слышит одного слова. Он глядит на иллюминатор: за стеклом по-прежнему темно, самолёт идёт в ту же стену, только теперь она ближе. Между вспышками тот же ритм.

Он отворачивается от стекла и встречается взглядом с соседом.

Сосед не спал. Не спал ни секунды — это видно по тому, как осторожно он держит лицо, как будто боится уронить. Он смотрит на Лёху, и Лёха впервые видит его глаза при свете: зелёные. Те самые. У Хорина были такие. У человека в пальто у гейта были такие. И теперь — у соседа по ряду, в самолёте, спустя три с половиной часа полёта, за девяносто минут до Иркутска.

Сосед смотрит не в лицо. Он смотрит на левую руку Лёхи. На пластырь. Несколько секунд.

Потом переводит взгляд за окно — туда, в точку за крылом — и говорит, не оборачиваясь: — Плохая гроза. Хорошая погода.

Голос у него обычный, негромкий, без интонации. Лёха не находит, что ответить. Он отвечает молчанием, и они оба смотрят в тучу. Сосед, не повышая голоса, добавляет:

— Командир идёт в неё. Не обходит.

И в этот момент из кабины доносится голос КВС:

— Уважаемые пассажиры, мы входим в зону грозовой активности. Просьба пристегнуть ремни и не покидать свои места. Совершим посадку в Иркутске.

Пауза. Слишком длинная для конца объявления.

— Продолжим посадку в Иркутске, — повторяет голос.

И Лёха понимает, что во второй раз голос звучит чуть громче и чуть иначе — словно в первый раз командир читал заготовку, а во второй — уже сам, от себя. Или наоборот. Он не успевает решить.

В салоне темно. Табло «пристегните ремни» горит, и трясёт теперь всех пассажиров. Даже серый костюм соседа выглядит невозмутимым. Сам сосед слишком спокоен для турбулентности, взбившей кофе в стаканчиках.

Лёха глядит вниз. В разрыве облаков — Байкал. Тёмная вода до горизонта, в мелкой ряби, и над ней дымит столбом та самая гроза. Та же самая. Из воскресенья. Она догнала самолёт и теперь идёт с ним рядом, справа по борту, повторяя разряды в том же темпе.

И вдруг — голос деда, не из сна, а из памяти: «Суббота — это когда всё сходится». Лёха не помнит, когда дед это говорил. Может, и не говорил вовсе.

— СУББОТА, — говорит он вслух, сам не понимая, откуда это вышло.

Сосед не переспрашивает.

Снижение. Лёха снова смотрит на карту: крестик западнее Прибайкалья, там, куда не ведут дороги. Самолёт идёт севернее, чем положено на заходе? Он не лётчик, он не считает траекторию, но по дуге снижения видно: они забирают севернее, ближе к той широте. И самолёт не возвращается на осевую. Туча идёт с ними.

В ушах закладывает — не от перепада, а как будто само давление меняется изнутри. Внутренний гироскоп, который всю жизнь держал его ровно, даёт сбой: Лёха чувствует, что падает не самолёт, а что-то внутри него.

Хвост негромко трясётся. Двигатель справа — звук, которого Лёха не слышал годами, — сбивает ритм. На этот раз не на такт: сбивает насмерть — один вдох — и вместо тишины в нём что-то шуршит, будто колесо сошло со ступицы.

В ту же секунду — вспышка. В хвосте. Справа по борту. Белая, чистая, как молния, но без грома и не оттуда, откуда бывает гром — изнутри салона, из-за последнего ряда, из той части, где двигатель.

Свет гаснет. В темноте — чужой голос: кто-то кричит. Лёха разбирает только интонацию, слова теряются в шуме двигателя, который теперь идёт не тем же счётом, а скачками, как принтер, молотящий по пустой странице.

Вспышка схлынула — и в слепой темноте Лёха видит соседа: сидит, не держится за подлокотник, одна рука лежит на колене, вторая — на его руке, поверх пластыря, сильно и сухо, как будто привинчивает на месте.

— Не смотри на вспышку, — голос спокойный, будто Лёха спросил его о времени, — смотри на меня.

Лёха смотрит. Зелёные глаза идут к нему сквозь крик и мигание табло, сквозь то, как самолёт начинает вести вниз и в сторону, а табло гаснет за одно дыхание. Глаза не торопятся. В них нет страха — в них есть то, отчего Лёха вдруг замирает на секунду и забывает про двигатель, про вспышку, про то, что внизу тайга.

В глазах — узнавание. Так смотрят на человека, которого уже узнали в лицо до его рождения.

Самолёт валится в правый крен, и Лёха слышит, как дед — не из сна, а из самого низкого гула, который идёт уже не из двигателя, а из костей, — говорит последнее слово. Лёха не дослышал его во сне — сон оборвался, не договорив.

Теперь он его не пропустит.

И тайга внизу распахивается, как зрачок.

Глава 3. Тайга

Тишина такая, что слышно, как она складывается: ветка, сверчок, собственное дыхание. Лёха открыл глаза и долго не мог сообразить, зачем он смотрит в небо.

Вторым ударом пришла память — самолёт, вспышка, крен, чужие зелёные глаза прямо в его собственные. И тайга внизу распахнулась, как зрачок.

Он лежал между двумя соснами, на толстом слое мха, а сверху на него, как одеяло, навалилась секция багажной полки. Он не был прижат — он был просто укрыт, как будто его положили. Это неправильное слово он потом не смог выкинуть из головы.

Руки слушались. Ноги слушались. В виске саднило, и когда он потрогал — пальцы стали красными. Левая рука, та самая, с ссадиной, которую он содрал ещё в Москве, — отчего-то не болела вовсе. Лёха не стал думать, почему. Решил не думать.

Дед говорил: сначала дышать. Потом смотреть. Потом думать. В этом порядке, и не быстрее.

Лёха выдохнул и начал со второго пункта.

Самолёт развалило над тайгой, как коробку, распакованную на лету. Обломки лежали веером: крыло у соснового корня, хвостовая часть дальше, ближе к болоту, ржавый след насквозь вывернутой земли между ними. Пахло керосином и сырой хвоей — запах резкий, живой, забивающий всё остальное. Огня не было. Лёха не знал, чему радоваться больше — тому, что он цел, или тому, что эти куски молчат.

Из тайги донёсся голос — живой, человеческий, злой:

— Эй! Есть кто слышит?

Женщина. Он пошёл на голос, по-дедовски аккуратно: нога вперёд, почву пробовать, не спешить. Тайга — это не двор, тут либо мягко и тихо, либо ты чей-то завтрак.

Он выбрался на поляну и узнал её по кофе. По тому самому стаканчику, который она поставила ему, хотя он просил чай. Стюардесса, та, что в салоне смотрела на его руку, стояла среди обломков с бортовой аптечкой, перевязывала незнакомому мужчине голову и одновременно командовала, как диспетчер, которому плевать на связь:

— Не толкайся, стой где стоишь. Повернись. Да, так. — Она глянула на Лёху без удивления — он был следующим в очереди. — Ты в порядке?

— Не знаю, — честно сказал Лёха. — Вроде да.

— Вроде — это уже хорошо. Место найди, к огню сядешь.

Лёха огляделся: сколько их? Считал людей, как в детстве считал шаги. Стюардесса, мужчина с перевязанной головой, женщина в светлом плаще, прижавшаяся к остову, и он сам. Четверо. Он пересчитал ещё раз — почему-то было важно, чтобы сошлось.

Четверо.

И тут он увидел того, кто выбивался из счёта.

Сосед по ряду сидел на обломке крыла в двух шагах от кострища, которое ещё никто не развёл, и смотрел в сторону леса. Он был цел. Не просто жив — цел: ни крови, ни пыли, ни ссадин, и сидел ровно, точно пол под ним не проваливался. Лёха посмотрел на свои изодранные ладони, на прорванный рукав, потом снова на этого человека — и его кольнула странная мысль: так выглядит пассажир, который вышел из самолёта, выдержавшего падение. Словно этот мужчина упал — а самолёт оказался мягким.

Сосед не обернулся на его взгляд. Он, как и до вспышки, смотрел в одну точку за лесом, и, похоже, именно туда ему и нужно было.

Лёха пошёл за водой.

Дед учил читать землю. Геолог — это не профессия, это способ дышать: ты всю жизнь смотришь на рельеф, как на экран регистратора, и читаешь логи. Низина, поросль, осока по

нитке — там вода. Река течёт вниз, вниз — к людям. Но к людям не спеши, сначала набери воды, пока светло.

Лёха обошёл обломки и пошёл на понижение. За его спиной стюардесса что-то крикнула про то, что, мол, «сам-то не ходи», но он уже шагнул в заросли, и голос растворился позади.

Впереди, шагов через триста, было болото. Он узнал его по дедовым приметам, хотя ни разу не был здесь: осока стоит жёстко, вода не блестит, а отсвечивает сквозь траву мутным оловом. От болота тянуло холодом и гнилью — запах тяжёлый, старый, как сама земля. Над всем этим медленно гуляла мошкара. Место живое, глухое, своё.

Он шёл вдоль края, высматривая место, где можно набрать воды, не свалившись, — и в этот момент заметил, что впереди, метрах в двухстах, болото меняется.

Ровный круг.

Поляна, вырезанная из топей будто неведомой рукой: ничего — ни тростника, ни осоки, ни моховой кочки. Чистая, светлая — как ладонью сняли. На ней не росло даже то, что на болоте растёт всегда.

Лёха остановился. Из детства, откуда-то из-за спины деда, из лета на даче, выплыла фраза. Дед сказал её однажды, когда Лёха был мелкий и слушал, развесив уши:

— Больше всего таких мест бойся, Лёшка. Чистых. Там, где не растёт даже гвоздь.

Лёха тогда считал, что дед шутит. Гвозди вообще не растут. Дед ведь рассказывал сказки: про медный шар, который поёт голосом того, кого вспомнишь, про город под водой, который выплывает к поверхности раз в сто лет, про людей, которые пришли со звёзд и ушли обратно, когда им стало скучно. Мальчишкой Лёха слушал эти сказки, как все дети слушают взрослых, которые умеют врать красиво. Он был уверен, что дед выдумывает, чтобы его байкальскому внуку было на что опереться в темноте.

Теперь он стоял перед этой поляной — и вспомнил, что дед как раз про это место и говорил. Про то, как не растёт трава.

Лёха вытащил из кармана телефон. Экран — трещина наискосок, подарок от падения. Телефоны у всех, кто выжил, не работали: тот же мужчина в перевязи тряс свой, как градусник. Лёхин включался, сети не видел, а координаты в навигаторе прыгали: тридцать километров, потом сорок, потом точка, в которую они не должны были вернуться. Компас в углу экрана вращался медленно, как глаз, выбирающий, кому верить.

Дедово правило: инструмент — последний. Сначала уши, глаза, ноги. И ещё дед говорил: на болотах стрелка врёт — там железо под землёй, оттого всё и вверх дном.

Под ногами не чувалось ни железа, ни руды. Зато Лёха точно знал, что это за место — и что дед про него говорил, — а дед не был ни провидцем, ни сказочником. Он был геологом. Лёха не знал, что страшнее.

Он постоял у края ещё минуту. Набрал воду из болота в бутылку из-под газировки, которую нашёл в обломках, — дед учил: лучше мутная, чем никакая; мутную можно отстоять, никакую нельзя. Повернулся, чтобы идти назад к огню, — и именно тогда это случилось.

Голос не был звуком. Он был — если это вообще было — мыслью, которая пришла не из его головы, а из соседней, и легла поверх его мыслей, как вкладка поверх рабочей страницы:

— ...линия СВЯТОРОС...

Тишина. Лёха замер, сжимая бутылку. В ушах — только лес, только мошкара и собственное сердце.

— ...линия СВЯТОРОС... связь... — повторилось почти в ту же секунду, но глуше, как если бы кто-то убавил громкость, но не выключил.

Лёха пощёлкал пальцами у уха. От ударной волны люди заговариваются, да. От контузии слышат и не такое. Он слышал истории: падают в обморок, слышат голоса родных, разговаривают с мёртвыми. Всё это он знал. Но контузия обычно не повторяет одно и то же слово, как строка из чужого лога.

— Контузия, — сказал он вслух, чтобы было кому возражать.

Голос замер. И это молчание было хуже ответа.

Он вернулся к месту крушения, когда солнце уже лежало косо и тайга начинала сворачиваться в ночной режим. Воздух стал холоднее, пахло прелой листвой и дымом — чужим, далёким, не их костра. Дедово правило стояло перед глазами, аккуратное, как табличка: ночь в тайге — отдельный мороз. Огонь разводи, пока светло. Не пока светло — пока видно твою руку.

Стюардесса к его возвращению уже насобираала сушняка и разложила кострище. Лёха подошёл, молча добавил берёзы — он отыскал берёзу с ободранным краем коры ещё по пути, раздёргал лыко — и полез в карман за зажигалкой.

— Спички есть у тебя? — спросила стюардесса, глядя на его руку.

Лёха достал зажигалку, посмотрел на свою руку. И замер.

Ссадина на костяшке — та, что в Москве была ещё свежей и глубокой, а в полёте он глядел под пластырь — почти затянулась, — теперь закрылась совсем. Кожа была розовая, почти новая, точно он содрал её неделю назад и забыл. Дед сказывал, что у Ветровых шкура молодая, но чтобы так...

— Раньше глубже была, — буднично заметила стюардесса.

Лёха посмотрел на неё. Она не улыбалась. Смотрела не на него — на его руку, как в салоне, когда принесла ему вместо чая кофе.

— В салоне тоже смотрели? — спросил он.

— Смотрела, — ответила она без паузы. — Досадно вышло тогда. Ты просил чай. Я принесла кофе, сама не знаю зачем. Рука у тебя — смотрю — вон какая была. — Она покачала головой, будто не себе поверила. — А теперь как не бывало.

Она отошла к мужчине в перевязи. Лёха остался стоять с зажигалкой в кулаке, глядя, как огонь берёт берёсту.

Совпадения. Сначала мёртвины на карте и топь по дороге. Потом чистый круг и дедовы слова. Теперь рука, которая зажила за день. Лёха отчего-то перестал верить в совпадения в тот самый момент, когда они стали собираться в систему.

Костёр разгорелся быстро — берёста вспыхнула сразу, сухо, и воздух потяжелел от дыма — запаха резкого, горького, живого. Лёха снова услышал деда: выдрал берёсту — держи её сухой, она и под дождём загорится. Дед это говорил на рыбалке, когда Лёха был такой маленький, что еле доставал до уключины. Дед всё говорил. Дед был полон этого добра — правил, примет, небылиц — и говорил так, что от этого зависела жизнь.

Лёха тогда не замечал, что дед его не развлекает. Он понял это только сейчас, в лесу, где нет света, нет сети и нет той жизни, в которую он летел.

К огню подтянулись все четверо. Мужчина в перевязи представился — Сухов. Женщина в светлом плаще молчала, не отвечая на вопросы, и её не трогали. Лёха молчал сам. Стюардесса развесила вокруг огня мокрые пледы, достала из разбитого чемодана сэндвичи, больше похожие на горелый тост, и разделила на всех без спора.

О КВС не спрашивал никто. И это было самое громкое, что они сказали за вечер.

Сосед по ряду пришёл к костру последним. Лёха как раз поворачивал голову в его сторону, отвлекаясь от огня, и увидел его у края света — и снова глаз зацепился за странность: ноги у соседа были мокрые по колено, как будто он прошёл болото насквозь, а сам он — сухой, спокойный, как до посадки. Он сел у огня на расстоянии, ничего не достал, ничего не открыл — сел и смотрел.

Лёха думал спросить, где вода и что там за болотом. Не спросил: в разговоре с этим человеком не запрашивай ответов. Дед называл такое «не трогай, целее будешь».

Ночью лес замолчал.

Это было как выключить звук в плеере посреди трека: не тихо — а пусто. Сверчки — оборвались. Мошकारа — исчезла. Лес стоял и не дышал, и Лёха, сидящий в двух шагах от огня, вдруг ощутил, как между ним и этим беззвучием проходит ось.

Сухов замер с сэндвичем. Женщина подняла голову. Даже пламя, кажется, легло вниз, прижалось к земле.

— Зверь, — сказал Лёха вполголоса, и адресовал он это не присутствующим, а той части себя, которую дед учил слушать лес. — Тихо.

У деда было правило: лес не молчит просто так. Если лес замолчал — по нему идёт что-то, что лес уважает. Медведь. Или то, что страшнее медведя, потому что не ходит по дороге, а переходит её поперёк.

— Не бегай, — сказал Лёха уже громче, ни к кому не обращаясь, а просто повторяя дедовы слова, как молитву, которую он знал наизусть с детства. — Перед медведем говори голосом. Громко и без паники.

Он говорил. Сам не разбирая, что. Что-то про то, что мы тут, и про сэндвичи, и про то, что у него есть зажигалка, а у зажигалки ещё искра. Он говорил, а сам слушал тишину сквозь свой голос, и лес — лес слушал его.

Минуту. Может, две. А потом, далеко, в глубине, тренькнула одна птица — неуверенно, пробно, проверяя, можно ли снова. За ней вторая. И лес выдохнул, запустился обратно, зашумел, наполнился звуками мошकारы и сверчков, как стартующий сервер — пошли все процессы.

Сухов выдохнул. Женщина опустила голову. Лёха сидел, не выпуская обломок бортового кресла, ставший на всякий случай топором, и ждал, когда пройдёт тряска, которая, судя по всему, была у всех, но в которой никто не признался.

И только сосед по ряду сидел так, как сидел, и смотрел так, как смотрел. И Лёхе внезапно стало ясно: этот человек для тайги не был ни зверем, ни своим. Тайга его просто не считала.

Отсвет костра лёг на страницы дневника. Лёха сидел в отдалении, спиной к стволу, и при свете огня во второй раз читал дедову схему.

Он делал это так, как его учили на работе: брал не факты, а наложение. Карта деда — пласт. Местность — пласт. Он накладывал один на другой и смотрел, где сходится, где нет, и где врёт старое.

Мёртвины на карте — топь, которая лежит по дороге к болоту. Сходится. Топь, которую он обходил за водой, на карте была там же, где её рисовал дед, с точностью до старой чернильной кляксы. Речка, которую он не встретил, — на схеме её не было, и это ничего не доказывало.

Крестик. За мёртвинами. Против крестика — те самые косые строки, которые он прочитал ещё в Москве: «Шар медный, наполовину утоп. Поёт — потому что Память. Целая Память в шаре».

Лёха закрыл дневник, подержал его на весу и положил на колени.

Дед был геологом. Геологи не рисуют карт, чтобы врать. Геологи рисуют карты, чтобы по ним выходить туда, где есть что найти. «Поёт», «Память», «медный шар» — это всё, что на этой схеме было не-геологией. Всё остальное сходилось, как показания приборной панели.

— Если сходится, — сказал он себе шёпотом, — значит, ты не безумец. Просто ты не раскусил, как это работает. Пока.

Он опять посмотрел в сторону чистого круга, которого теперь не было видно, и вспомнил, как голос внутри головы повторил ту же строку. Раза два. Как строку, которая не выключилась.

Тот же отсчёт, что и в самолёте, — он держал ритм под треск костра, потому что считать было спокойнее, чем думать.

Он не заметил, как сам заснул — на коленях с открытым дневником, с телефоном, прижатым к груди, — у него не было сети, но были трещина наискосок по экрану и точка в навигаторе, которую он так и не смог удалить.

Снилось ему болото. Чистый круг. И в его центре — ровная, гладкая, медная поверхность, как заставка, которая ждёт, когда ты в неё войдёшь.

Снилось, что откуда-то из-за его левого плеча, негромко, как в наушнике, голос деда говорит:

— Замок стоит. Как я тебе говорил.

И та же строка, которую он не расслышал в самолёте, снова ушла чуть дальше, как страница, листнутая раньше, чем он дочитал.

Он проснулся от холода за час до рассвета. Холод пробирал до костей — сырой, тяжёлый, с запахом тумана и прелой травы. Костёр догорел; красным углём, как закладка, торчала головешка. Над болотом стоял туман — густой, до пояса, влажный, липнувший к коже. Круг в двухстах метрах светился в нём бледным пятном, которое не погасло до конца.

Лёха смотрел на это пятно долго. Потом открыл дневник на схеме, провёл пальцем по дорожке от мёртвин до крестика и поставил сбоку карандашом, дедовской же манерой, незаметную закорючку — отметку «проверено».

Дед, если он где-то это видел, мог бы сказать, что Лёха наконец начал читать карту не глазами.

Жалко, сам дед этого уже не услышит.

И всё-таки, поставив закорючку, Лёха прислушался к себе — есть ли страх. Страх не было. Был интерес, как у человека, который сложил воедино два логина к одной и той же системе и теперь не может не попробовать.

Где-то за спиной, у костра, хрустнуло. Лёха обернулся.

Сосед по ряду сидел на крыле — уже не в двух метрах от огня, а ближе, чем был, и смотрел не на Лёху, а на дневник в руках Лёхи. Не на лицо. На корешок, на страницы, на схему.

Смотрел так, будто видел его впервые в жизни. Или будто знал его наизусть.

— Болото поёт, — сказал сосед. Не вопрос. Не предложение. Просто факт, брошенный в туман, как ещё один камешек.

И, не дожидаясь ответа, поднялся и пошёл в лес. В ту сторону, куда Лёха собирался пойти за следующим краем воды.

Лёха проводил его взглядом до тех пор, пока серый костюм не растворился в тумане. Потом посмотрел на дневник, потом опять в ту сторону, куда ушёл сосед.

Поёт.

Дед говорил так же. Слово в слово.

Лёха аккуратно закрыл дневник, сунул карандаш в карман и сел на свой обломок, лицом к чистому кругу, который светился в тумане, как приглашение.

«На свету отнесу воду. А потом — посмотрю, что там за мёртвинами».

Это была последняя мысль, которая успела сформироваться до того, как в его уши, из ниоткуда, между двумя ударами сердца, легло, щёлкнув, как вставленный патрон:

— ...линия СВЯТОРОС... связь.

И снова тихо.

Лёха не вздрогнул. Он сидел и слушал, как лес перед рассветом переворачивается на другой бок, и ждал, пока голос — который не был контузией, — заговорит снова.

Голос не вернулся.

Но теперь Лёха знал: он не один.

Глава 4. Мёртвины

Туман уже не лежал, а стоял — до груди, плотный, как вата между двумя матрасами. Над головами спящих он отстаивался тонким слоем, и Лёха, глядя на этот слой, пересчитывал его, как паузы между разрядами: ровно, ровно — а дальше хуже.

Стюардесса сидела у углей. Смотрела не в огонь — на лес, и поворачивала голову медленно, как антенна, ищущая сигнал.

— Ты чего не спишь? — спросила она, не оборачиваясь.

— Спал, — сказал Лёха.

Она не уточнила, насколько неправдоподобно это прозвучало. Вместо этого кивнула на его руки: дневник, бутылка с мутной водой, карандаш.

— Воды не надо, — сказала она. — Она у тебя уже есть.

Лёха не нашёл, что ответить. Он поднялся, взял топор — обломок кресла, который с вчерашнего вечера так и не разложил на дрова, — и сказал ту фразу, которую готовил с ночи:

— Схожу за вторым краем воды. Наберу, и обратно.

Стюардесса посмотрела на него спокойно. Очень по-свойски спокойно, как смотрят на человека, который только что солгал настолько привычно, что сам этого не заметил.

— Не ходи один, — сказала она. И вдруг добавила, тихо, почти для себя: — Там, за болотом, что-то есть. Я чувствую.

— Далеко не пойду.

Оба знали, что он врёт. В тайге это, может быть, единственная форма вежливости: не спорить с тем, кто решил.

Лёха повернулся к лесу — и в этот момент у него под ногами, глубоко, под слоем мха, невидимо провернулось что-то тёплое. Коротко. Будто костёр в четырёх метрах переступил с ноги на ногу. Он остановился, послушал себя.

Ничего. Тишина, туман, лес.

«Ты уже идёшь», — подумал он, сам не разобрав, своя это мысль или нет.

Дед говорил: на болоте тропу читают всем телом. Глаза показывают, где суше, а страшно на болоте — как раз там, где ровно. Читают палкой, весом, старой памятью. И ещё дед говорил: если ты вдруг знаешь, куда надо, без карты и без названия — не радуйся раньше времени. Радуетесь только тот, кто попал.

Лёха шёл — и ноги сами поворачивали. Мягко, без спора: сначала полшага в сторону, потом ещё короче, потом — следующий след. Словно он шёл по дороге, по которой ходил когда-то, а потом забыл, что ходил.

Он остановился. Вынул из кармана телефон. Трещина поперёк экрана, «нет сигнала», и компас в углу — вращается. Не медленно, как вчера. Плавно и целеустремлённо, как стрелка часов, которой не хочется отрываться от двенадцати. Север, потом юг, потом север снова — и каждый раз, проходя направление «за мёртвинами», стрелка нехотя задерживалась, будто её тянуло туда сильнее, чем ей хотелось.

Дед предупреждал: стрелка на болоте лжёт не зря — топь под собой железо носит. Здесь железа не нашлось. Вообще ничего не нашлось — а стрелка всё равно крутилась к северу и к югу, а потом вставала так, словно знала, куда Лёха собирался идти.

«Инструмент — последний», — сказал Лёха сам себе вслух. Убрал телефон в карман — и тут заметил, что ноги сами несут его не назад, а дальше, к мёртвинам. Он остановился, испугался — и в этот момент вода заговорила.

Птицы замолчали за полчаса до его прихода.

Он не был уверен, когда начались мёртвины. Тайга менялась не сразу: сосна, берёза, мох, редкий кедр. А потом раз — и лес другой. Не другой сорт, другой возраст: стволы стоят в воде

по колено, дальше по грудь, дальше — выше, и мертвее уже некуда. Между стволами — чёрная вода, тихая, как зеркало, в котором за ночь никто не отразился.

Затопленный лес. Нежилое кольцо.

Лёха остановился на опушке живого леса. Он зашёл в ту часть тайги, где даже дед на карте ставил не точку, а чернильный кружок, означавший, как дед объяснял мальчишке: «Туда не ходят, Лёшка. Туда даже Ветровы не ходят».

Вытащил дневник. Раскрыл на схеме, положил её на колено, как на рабочий стол, и навёл по приметам: осока редкая — стоит жёстко, значит, топь держит только у краёв. Мёртвины на карте — точно там, где он стоял. Крестик — за ними, в болоте, рядом с чистым кругом, который дед даже не стал обводить — поставил его отдельно, как отдельный слой.

«Дед боялся», — подумалось внезапно, и это была не мысль, а догадка, которую он всю дорогу носил с собой, вместе с дневником. Дед боялся не того, что там что-то есть. Дед боялся, что туда можно войти.

Но сказал он это мальчишке иначе: «Чистых мест бойся, Лёшка. Где и гвоздь не растёт».

Лёха убрал дневник, взял в руки топор и ступил в воду.

Первые полсотни шагов дались почти легко. Топор уходил в ил на ладонь, потом на две, вытаскивался с мокрым всхлипом, и нога шла следом по тому месту, где он остановился, — как по клавише, нажатой до тебя. Дед учил: зыбь не любит, когда торопятся. Зыбь любит, когда идут, как она хочет, тогда она держит.

К середине мёртвин вода дошла до пояса, и лес вокруг стал совсем чужой: стволы голые, до блеска вылизанные, без коры, без веток, без надписей — тех, что люди оставляют, когда им страшно. Тишина здесь была такая рабочая, что Лёха слышал, как у него внутри, по рёбрышкам, идёт частая мелкая дрожь: не страх, нет. Холод. И ещё то, что приходит после холода.

Чёрная вода поднялась выше, и он шёл теперь не по тропе, а по памяти, спрашивая у неё совет внутренним голосом, как у службы поддержки, которой нельзя задать вопрос вслух.

— Слева обойдётся, — сказала вода. Лёха узнал воду, потому что больше некому.

Он обошёл слева.

Голос не был громче. Он был — не снаружи. Впервые за два дня он пришёл не как вкладка поверх его мыслей, а как будто из глубины его собственной памяти, из той папки, которую он открывал, когда думал: «А помню ли я это слово?».

Он шёл, и внутри него, в такт шагам, складывалось:

— ...врата...

Лёха замер по пояс в чёрной воде. Слово оказалось странным. Не чужим — странным. Он никогда не слышал его на этом языке. И вместе с тем он точно знал, что означает «врата». Он даже не переводил. Он узнавал, как узнают запах, который детство клало в стол и забыло про него.

— ...врата открыты только для своего...

Теперь Лёха слышал яснее — не словами, а смыслом поверх слов, как читают код, не стремясь прочесть каждую строку, потому что поведение функции уже произнесло тебе всё, что нужно. Он не знал, откуда у него взялся этот язык. Но он, кажется, начинал его помнить.

Где-то в груди, тепло и мелко, как дрожь под кожей, шевельнулось «свой». Свой — это он. Это было не сказано, не выведено на экран, это было — установлено. Как права доступа, которые выдали за секунду до того, как он спросил.

— ...своего нельзя обмануть... — сказал голос, и в этот раз Лёха поймал слово на самом краю.

— Нельзя, — повторил он вслух и сам себе не поверил, что сказал.

Вода под ним молчала. Вся мёртвина молчала, насторожив уши.

Лёха стоял в воде по грудь и думал спокойно и ясно, как не думал со вчерашнего вечера: контузия не разговаривает. Контузия не предлагает обойти справа-слева. Контузия не открывает доступ к самому себе.

Где-то за невидимым краем топей, за чернильными кружками дедовской карты, на чистом берегу ждало нечто, знавшее его по имени дольше, чем он знал себя.

Лёха сделал шаг. Вода ушла пониже. Дно стало твёрже.

Мёртвины кончились так же внезапно, как начались: один шаг — и из-под ног ушла вода. Лёха выбрался на берег по наклонному стволу сосны, упавшему поперёк топей мостом, что никто не строил, и встал на твёрдую землю посреди тумана.

Перед ним лежала поляна — ровный круг.

Берег, вынутый из леса, — гладкий до пустоты: ни куста, ни осоки, ни мха. Земля здесь была не голой, а выметенной, как площадка перед посадочной зоной. На ней не росло ничего. Гвоздь не рос. Дедово слово встало рядом — живое, как его голос.

И на самой середине круга, где от любого мха осталась бы хотя бы примятость, лежал он.

Шар. Медный. Наполовину утоплен в грунт, как будто его уронили вчера и не подняли — без налёта, без ржавчины, без времени, которое положено металлу, пролежавшему в трясине дольше обычного. Тёплый — Лёха это знал, не коснувшись. По боку шара, как раз когда он перестал дышать, проходила одна искра: мерно, коротко, как тлеющий уголёк, отсчитавший последний такт.

Дед не врал. Дед вообще никогда не врал.

Лёха стоял на краю круга, с топором в руке, и чувствовал, как из памяти, из того места, которое он открыл, даже не зная об этом, поднималось не слово — узнавание.

Точно такое же ощущение он испытал в Москве. Во сне. Гул шара — узнаваемый, как звук, который слышишь впервые, но знаешь всю жизнь. И чувство, что начинать придётся именно там, в болоте, где дед нарисовал крестик.

Тогда он принял его за гул из серверной. Теперь он стоял перед шаром — и сомнений не было: сон был не сном. Это было письмо — отправлено с адреса, который лежал за мёртвинами. И адресовано ему.

Лёха понял каждое слово. И не знал, хотел ли.

Глава 5. Шар

Он не помнил, как сделал первый шаг. В какой-то момент земля под ногами сменила фактуру: вместо мха и земли — ровная, плотная, как хорошо утоптаный асфальт. Лёха шёл по чистому кругу, и каждый шаг отдавался в груди глухим, ровным гулом, которого почти не было слышно.

Туман к утру совсем поднялся и повис над болотом плотным слоем, как крышка серверной, которая не закрывается, а висит. Солнце ещё не встало, но небо над мёртвинами уже светлело той особой синевой, какая бывает один раз — перед тем как случится что-то главное.

Шар стоял на середине круга. Наполовину утоплен в грунт, как будто врос, — верхняя половина, по грудь взрослому человеку, без единой царапины, без налёта, без зелени и без времени. Медь в трясине не живёт так долго, Лёха это знал даже без дедовой науки: медь окисляется, зеленеет, обрастает. Это же стояло, словно всё, что его окружало, было для него бутафорией, а он — единственным настоящим предметом в комнате.

Лёха остановился в двух шагах. Достал дневник, положил его открытым на колено — не чтобы читать, а чтобы держаться за него. Приписка деда стояла рядом: «Шар медный, наполовину утоп. Поёт — потому что Память. Целая Память в шаре».

— Ну, — сказал Лёха вслух. — Я здесь.

Шар молчал.

Лёха сделал последний шаг и положил ладонь на тёплый металл.

Он ждал чего угодно: шума, голоса, искры, толчка. Вместо этого под ладонью, из самой сердцевины металла, поднялся гул. Не звук — вибрация, мягкая, как у корабельного двигателя на малых оборотах, размеренная и очень, очень ровная.

Лёха слушал его и понимал, что это и есть пение.

Дед писал: «Поёт — потому что Память». Теперь Лёха слышал, как это работает: шар гудел не мелодией. Он гудел служебным ритмом, как гудит шина данных, по которой идут пакеты, как гудит лог, который пишется сам по себе, минута за минутой, тысячелетие за тысячелетием. Ровно, ровно, ровно — и внутри этого гула, если вслушаться, было всё: слои, уровни, старые записи, которые никто не стирал, потому что никто не приходил.

— Дед, он правда поёт, — сказал Лёха. Голос у него почему-то сел.

Мелодии в шаре не было. Но Лёха вдруг понял: дед и не слышал мелодии. Дед услышал систему. В его словаре не было слова «система» — было слово «Память».

Лёха убрал ладонь и обошёл шар по кругу. На четвёртом шаге остановился, приложил ладонь обратно — металл всё так же грел, тихо и ровно.

Он увидел знак на третьем обходе. На боку, там, где медный бок уходил в грунт, по самому краю, как ободом по канту, был выгравирован круг. Не нанесён — выгравирован, будто вырезан в металле лучом или чем-то, что работает точнее любого луча. И круг был не простой: прочерченный девятью дугами, одинаковыми до последнего миллиметра, точно их считали.

Лёха замер.

Он знал этот рисунок. Он видел его на стене переговорной в «СВАРОГ ГРУПП». Он видел его на печати внизу договора. Он видел его в углу письма от кадрового агентства. Он видел его в офисе и подумал — «фирменный бред» — и решил, что это геометрия, которую «высчитывают».

А потом его рука, сама, потянулась к дневнику. Лёха открыл его на последней странице, там, где дед писал размашисто: «не наша война, но и не чужая». Лёха в самолёте перечитывал эту строку пять раз и смотрел на страницу очень внимательно — и всё равно не заметил того, что было в углу: мелкое, карандашом, полустёртое — видимо, его рисовали механически, не глядя, пока думали о другом.

Круг с девятью дугами.

Лёха тогда принял его за небрежную галку. Сейчас он смотрел на этот круг, потом на шар, потом снова на страницу — и в груди у него, холодно и чётко, как счётчик, щёлкнуло на третий раз:

Тот же рисунок.

В офисе. В дневнике деда. И здесь, на металле.

— Дед рисовал их всю жизнь, — проговорил Лёха, и сам не узнал свой голос. — Как рисуют то, что знают наизусть.

Он стоял посреди чистого круга, с дневником в одной руке и с другой ладонью на тёплом металле, и понимал, что в этой комнате — если это была комната — он больше не один.

Гроза налипла за мёртвинами, как кнопка, которую кто-то решил нажать и медлит.

Лёха увидел её боковым зрением, не отрывая руки от шара: стену тёмного неба над затопленным лесом, подсвеченную изнутри. Ту самую стену. Он простоял бы и дальше, списывая её на погоду, если бы не счётчик, который включился сам, раньше, чем он успел ему помешать.

Он стоял, и в голове шёл отсчёт. Тихо-тихо-тихо, как в воскресенье над Байкалом, как в самолёте между двумя вспышками, как серверный гул на обороте позавчерашнего дня.

Четырнадцать.

Четырнадцать.

Четырнадцать.

Лёха поднял голову. Гроза шла не к нему — она стояла на месте, как приклеенная к листу, и вспыхивала там, за мёртвинами, в одном и том же углу неба, выдерживая один и тот же интервал. Ровно четырнадцать секунд между разрядами. Он бы поклялся, что секундомер шёл — он знал это число, как знал ритм горизонта до того, как увидел его.

И в то же мгновение, точно в такт очередной вспышке, у него под ладонью, на медном боку шара, пробежала одна искра. Короткая, ровная, как тот самый светодиод, который он привык называть «светодиод на корпусе, у которого кончилась очередь».

Очередь, выходило, не кончилась. Она только начиналась.

Лёха убрал руку. Потом положил обратно — она не слушалась его, она уже знала дорогу, по которой ему придётся идти.

— Ритм тот же, — сказал он. — Это не погода.

Лёха сунул дневник за пазуху — дед учил: ценное ближе к телу. И взялся за обломок кресла — тот самый, с которым шёл от мёртвин, — другой рукой, встал пошире, как перед стартом.

И в этот момент под его ногами торф вздохнул.

Загуло сильнее. Гроза за мёртвинами дёрнулась — не вспышкой, а всем небом сразу, и воздух стал плотным, как перед ударом.

Вода пришла из-под земли. Не дождь — она набухла в торфе, чёрная, холодная, липкая, поднялась по ногам выше ботинок, и там, где ладонь Лёхи касалась металла, грязь вдруг вскипела. Мелкими, белыми пузырями, — точно под кожей шара начинался процесс, которому не нужно было никакое приглашение.

Лёха отдёрнул руку — поздно. Он сжал обломок кресла и тут же сообразил, что не упадёт на землю, потому что земли уже нет.

Нога провалилась в торф. Не в болото — в торф, который в одну секунду стал жидким, глубоким и таким же чёрным, как всё вокруг. Лёха остушился, перевалился через шар, вдавил ладонь в липкую грязь по локоть — ту самую руку, на костяшке которой недавно заживала ссадина, — и в ту же секунду, точно через четырнадцать секунд после предыдущей вспышки, небо над кругом осветилось до дна.

Гроза ударила ровно в шар. Не в Лёху — понимал он потом, уже лёжа; в шар, — точно прицелилась с того дня, как она появилась у него в небе.

Удар был не страшен. Страшным было то, что вслед за ним шар начал расти.

Лёха видел такое только в детстве, в дедовых сказках: когда он уронил в мутную реку полную фляжку, и та, уходя на дно, показалась ему больше, чем прежде. Здесь было наоборот: шар не тонул — он поднимался. Медь вспучивалась из торфа, как корень, который всю жизнь ждал весны и наконец дождался; грунт трескался вокруг, вода уходила вглубь, и металл шёл вверх с таким видом, как будто ему не нужна была помощь земли, чтобы стоять.

Свет изнутри. В гудении шара сбился служебный ритм — он споткнулся, как споткнулся двигатель на десятом такте, как споткнулась тишина в самолёте за секунду до вспышки, — и в сбое этом было не падение.

В сбое этом был вход.

Металл раскрылся. Не трещиной — проёмом, широким, тёплым, светящимся изнутри, в который можно было войти, не нагибаясь. Как дверь, которую открыли настежь в комнату, которой никогда не было.

Дождь наконец решился и рухнул стеной. Трясина под Лёхой пошла вниз, втягивая его, как в воронку, и он, оглушённый, в полубреду — гул, жар, свет, вспышки, грязь по пояс, — сделал то, что сделал бы на его месте любой, кто двое суток мерил тайгу шагами и чувствовал, что его узнают по имени внутри: он шагнул туда, где светилося.

Проём принял его. Тёплый пол под ледяными ногами. Свет, который был не днём и не электричеством — светом, который ждал.

Первую секунду Лёха смотрел на этот свет, не понимая, куда смотреть. Вторую секунду он осознал, что стоит не в шаре.

Внутри шар был больше, чем снаружи. Это не укладывалось ни в один его инструмент — и всё же было так: комната, в которую он вступил, была шире своей кожи, просторнее своей меди, как будто металл держал в себе не объём, а обещание объёма. Пол — ровный, тёплый, без швов и без единого стыка. Потолка не было: вместо него, вместо неба, над головой стояла тёмная глянцевая вода и гудела на одной ноте.

И тогда Лёха узнал это место.

Он узнал его не памятью — телом, как узнают сон. Это была не каюта и не комната имени. Это была его серверная с открытой крышей. Та, из Москвы, из того самого сна, где шар впервые запел — ещё без слов. Тот же гул, та же вода, то же чувство, что пространство устроено по чертежу, который можно смотреть, но нельзя трогать. Тогда он списал это на усталость. Сейчас он стоял внутри чертежа.

— Замок стоит, — сказал голос. Дедов. Не из сна, не из того места, откуда приходят голоса, — из самой этой комнаты, из её гула, из тёплого воздуха. Помягче, чем во сне. — Как я тебе говорил. Но тебе — можно.

Лёха хотел сглотнуть и не смог: между двумя ударами сердца образовалась пауза, которой в его сердце никогда не было.

Он не знал, сколько она длилась. Он успел понять, что его пульс растягивает её, как резину: секунду, две, десять — и дальше, до того самого числа, которое он считал всю дорогу сюда, как счётчик, который не умеет ошибаться. Четырнадцать. В этой паузе мир перестал торопиться. В этой паузе у мира появилось время посмотреть на него внимательно.

Волна началась с руки.

С той самой руки, со ссадины на костяшке, которая зажила за день — не по-ветровски. Лёха почувствовал, как от неё, от этого маленького зажившего места, тепло пошло вверх — по руке, по плечу, по костям, по всему телу. Не жарко. Тщательно, как разбирают чужой код, чтобы собрать его так, чтобы он работал с этим ядром.

Лёха хотел отдернуть руку — не смог. Пальцы не слушались, зубы свело, и по коже побежали мурашки — не от холода, от того, что его трогали изнутри.

И он почувствовал, что его читают.

Не сканируют — читают: по строкам, не торопясь, сверяя с тем, что знали заранее, и проверяя то, что знали только о нём. Лёха стоял посреди своей же паузы и чувствовал, как по нему проходит компилятор: берёт его целиком — руки, память, страх, ссадину, дедову схему, «ровно-ровно-ровно» в груди — и собирает обратно, чуть иначе. Чуть полнее. Как будто в него дописывают одну строку. Короткую. Тонкую, как шрам.

Где-то на краю сознания, в том месте, где кончается его собственное «я», мелькнуло данными: «свой. нельзя обмануть. врата открыты».

А потом, на полсекунды, в него провалилось чужое воспоминание.

Оно было не его — он это понял сразу, потому что не мог его отменить. Руки были не его: старше, с тёмной печаткой на пальце, и держали они книгу с медным обрезом. Где-то рядом был холодный пролив, чужой ветер, и голос, произносивший слово по слогам, — слово, которому он тогда не нашёл ни смысла, ни звука, ни следа в памяти.

Полсекунды. Меньше. Вспышка, которая не успела стать воспоминанием, — но легла туда, где лежат все воспоминания, и осталась.

Лёха открыл рот, чтобы сказать что-то дедовское — что-то последнее, про то, что он вошёл, — и не успел.

Гул сбился в один единый тон. Пауза лопнула. Свет, пол, тёплая вода над головой — всё это вместе оказалось у него под ногами и за спиной одновременно, — мир сложился пополам и унёс его с собой.

И — провал.

Глава 6. Прыжок

Первым запахом была не тайга.

Лёха открыл глаза, и в лицо ему ударило тепло — чужое, влажное, солёное, как будто он проснулся в другом времени года. Над головой — небо, но не то, что он привык видеть над болотом: высокое, светлое, с облаками, которые стояли на месте, как будто им было некуда спешить.

Он лежал на спине. Песок под ладонями был сухой и жаркий. Мокрая одежда липла к телу, и он не сразу понял, что мокрая она не от дождя: его всё ещё ощутимо качало — тот самый ровный ритм, с которым он вошёл в шар, отдавался в костях, как отдаётся в ушах гул шторма, который уже кончился.

Он сел.

Море. Впереди, до горизонта, лежало море — синее, спокойное, ласковое, с запахом, которого он никогда не нюхал, но почему-то узнал. У берега, в десяти шагах, стояли мангровые заросли — деревья, растущие прямо из воды, с корнями, торчащими из мелководья, как рёбра какого-то большого животного. Лёха знал их по картинкам из детства, из передач про тропики — на его широте такого не бывает.

Он медленно поднялся на ноги и обернулся. Тайги не было. Болота не было. Обломков самолёта тоже не было. Был песок, море, заросли и чужие звёзды, которые к этому моменту уже начали бледнеть, но ещё висели в небе — другие, не его.

Он простоял так долго. Потом, не глядя, нащупал за пазухой дневник — тот был на месте, прижатый к груди. А в кармане, в глубине, лежало что-то маленькое, живое и гладкое.

Лёха вытащил это.

Шар.

Медный, размером с кулак, чистый, без единой песчинки, будто только что его протёрли. Ровный. Спокойный. Тот самый, в который он шагнул, стоя по пояс в чёрной воде. Только теперь он был маленьким — маленьким, как компактный накопитель, как флешка, которую носишь в кармане и забываешь, что она у тебя есть.

Лёха сжал его в ладони. Шар молчал. Тёплый — и всё.

— Ты уменьшился, — выговорил Лёха шёпотом. — Или я увеличился.

Ответа не было. Он сунул шар обратно в карман, где нашёл его минуту назад, и пошёл туда, где из-за зарослей поднимался дымок — прямой, вертикальный, как нить, натянутая между землёй и небом.

Он вышел из зарослей на чистый берег и увидел её.

Дымок шёл не от костра. Он шёл от белых башен, стоявших на воде — в нескольких километрах от берега, там, где море темнело от глубины. Башни светились. Не огнём — светом, мягким, живым — чем-то, что светится само по себе, как свет в окне, где кто-то ждёт.

Между башнями и берегом шли дороги. Не мосты — Лёха не нашёл другого слова — дороги, плавно изогнутые, как лезвия, лежащие на воде. По ним ходили люди. Мелкие отсюда, различные, как точки, и все они шли туда-сюда с той особенной, неторопливой уверенностью, какая бывает, когда под ногами земля, — только земли под ногами у них не было: они шли по воде.

Лёха стоял на берегу и считал башни. Потом остановился: считать их было всё равно что считать море.

Из мангров, из самой чащи, на берег вышел человек. Высокий, светловолосый, молодой — годы не читались на нём, как не читаются они на хорошем инструменте, — в простой белой одежде, какой-то странной для Лёхи: не древней, но и не современной. На поясе у него была сумка. В руках он ничего не держал. И стоял он так, как стоят те, кого ждут.

Он что-то сказал. Звук его речи был приятным — глубоким, спокойным, как гул далёкого прибора, — и полностью незнакомым. Лёха не понял ни слова. Не то что не понял: он слышал, что это язык, но язык этот звучал так, будто его собрали из звуков, которых в человеческой речи быть не должно.

— Я вас не понимаю, — выговорил Лёха. — Стойте. Я вас не понимаю.

Человек замолчал. Посмотрел на Лёху внимательно, как будто спрашивал с него не речь, а что-то другое, — и проговорил ту же фразу снова, медленнее. Лёха всё так же не понимал её, но на этот раз поймал, что под рёбрами, где со вчерашнего дня жил этот странный шёпот, что-то зашевелилось. Голос. Тот самый, что проснулся у него в груди на болоте, среди мёртвин, и теперь лежал, как камень, — зашевелился и начал слушать.

Лёха слышал его — сбивчиво, вперемешку, как слышат свои же мысли чужие:

— *...речь: не распознана... узор речи: сверка... основа: [АРХАИЧЕСКИЙ ДИАЛЕКТ]... род: Х'АРИЕЦ... образец речи совпадает... подстраиваю... язык: [ГОТОВ]...*

Человек повторил ту же фразу в третий раз.

— Сюда не бьют молнии, — услышал Лёха, и каждое слово было понятным, как будто кто-то подкладывал под каждое звучание готовое значение. — Молния — это для того, кто приходит не вовремя.

Лёха отшатнулся.

— Я вас понял, — проговорил он. — Я только что вас не понимал, а теперь понимаю. Что это было?

Человек не ответил сразу. Он смотрел на Лёху долго, и взгляд у него был не тот, каким смотрят на приборную панель, у которой наконец загорелась нужная лампочка, а тот, каким смотрят на панель, у которой загорелась лампочка, которой там быть не должно.

— У тебя внутри голос, — сказал он тихо. — Расскажи, как он к тебе пришёл.

— В шаре, — выдохнул Лёха. — В тайге, в чёрной воде. Когда я вошёл, он... зацепился. Я не понял, как. Я думал, это последствия.

— Голоса в носителе быть не должно, — отозвался человек. Это прозвучало не как правило, а как диагноз: ровно, без обычных для человеческой речи зазоров для сомнения. — Сливание двух разумов в одном теле — аварийная ветвь. В наших записях она числится невозможной. А ты пришёл вместе с ним — и прошёл узел. — Он помолчал. — Сеть впустила тебя. Признала тебя целым, вместе с гостем. Значит, для сети ты звучишь так, как был задуман, — только раньше мы не знали, как звучит носитель, у которого в груди чужой разум.

— Это плохо? — спросил Лёха.

Человек посмотрел на него с чем-то вроде уважения.

— Я не знаю. Тысячи лет по узлам ходил носитель один. Ты — первый, кто слышит сеть двумя существами. Если это правильно — ты нас всех переживёшь. Если нет — сеть покажет раньше, чем мы успеем решить. — Он перевёл взгляд на башни. — Пока идём так, как учит сеть: по одному шагу.

Лёха смотрел на него и чувствовал, как в груди, холодно и точно, включается какая-то его старая, рабочая память: он знал эти глаза. Зелёные. Слегка знакомые, как знакомо бывает лицо, которое ты уже видел — где-то, давно, в какой-то другой жизни, которую не вспомнить и не забыть.

— Я вас знаю, — произнёс Лёха и тут же поправился: — Кажется, я вас знаю.

— Да, — ответил человек. — Ты меня видел. В самолёте. И потом, у костра, когда я сказал, что болото поёт.

Лёха молчал. Память — не вся, не сразу, а вразнобой, обрывками, — пошла собираться, как собирается разрозненный лог: самолёт, серый костюм, мокрые по колено ноги, фраза, сказанная словно из другого сна: «болото поёт». Он знал этого человека. Он только не мог понять, каким образом.

— Меня зовут Хорс, — сказал человек. — Ты задержался, носитель. Мы тебя ждали.

Хорс сел на песок, жестом пригласив Лёху сесть рядом. Лёха не сел — остался стоять, сжав кулак в кармане.

— Что это за место? — спросил он.

— Порт, — обронил Хорс. — Вход в наши земли. Мы называем его «дальняя гавань»: корабли отсюда уходили и сюда возвращались. Море здесь тёплое — не потому, что юг. Потому что мы живём здесь давно и успели согреть его собой.

Лёха кивнул, не поняв, и Хорс, видимо, читавший такие взгляды прежде, добавил:

— Ты из тех, кто задаёт вопросы в правильном порядке. Слушай. Я отвечу на то, что можно ответить сейчас. Остальное ты увидишь сам.

— Откуда вы меня знаете? — спросил Лёха.

— Тебя не знают с рождения, — продолжил Хорс. — Тебя узнают по следу. По шагу, по руке, по тому, как ты читаешь мир. У твоего рода на это есть слово — «намётанный глаз»: видеть лишнее там, где остальные видят порядок. У нас это называется «полная сборка». Ты собран полностью — мы ждали такого носителя тысячи лет.

Лёха хотел сказать, что он просто айтишник, но понял, что это прозвучит как отказ. А Хорс уже продолжал — тихо, без нажима, как читает лекцию человек, который слышал свои слова много раз и всё ещё в них верит:

— Мы пришли сюда издалека. С планеты, которую до сих пор ищут на ваших картах, — оттуда, где небо начинается созвездием, которое вы зовёте Медведицей. Наш дом — Ингард. Путь занял не год и не век. И с самого начала мы знали, куда идём: на этой земле мы должны были встретить своё продолжение.

Лёха смотрел на него, не понимая.

— Это важно, — проговорил Хорс, заметив его взгляд. — Ваш род не вырос из этой земли. Вы — наша давняя работа: замысел, который мы несли через звёзды задолго до того, как впервые ступили сюда. Мы создали вас заранее, до прибытия, — и пришли на эту землю, уже зная, что здесь вам будет где расти. — Он помолчал. — А потом мы расселились рядом с вами и остались. Держали вашу мысль за палец, как держат за палец ребёнка, который учится ходить, — пока не отпускали и не смотрели, как она шагает сама. Из этих шагов и вырос тот разум, которым ты сейчас пользуешься и которого не замечаешь. И, пожалуй, это единственное, в чём согласны все четыре рода.

Лёха поймал это «пожалуй» и зацепился:

— А спорите о чём?

— О том, идти ли дальше, — отозвался Хорс. — Базовый уровень — потолок, на котором вы остановились. Часть родов говорит: хватит, пусть человек растёт своим шагом. Другая говорит: поднять людей до нашей ширины — до полной меры разума, до тех способностей, с которыми живём мы сами. Разогнать там, где вы идёте шагом. Спор этот тлеет тысячи лет, и ты его услышишь. Это не спор криком.

— Нас было четверо родов, — продолжил Хорс. — Мы, Х'Арийцы, — разведка и стража. Глаза у нас зелёные, волосы светлые; мы ходим первыми туда, куда ещё никто не ходил, и последними там, откуда все ушли. У ваших народов нас зовут одним из ликов солнца — Хорсом. Об остальных ты узнаешь сам. Встретишь — поймёшь.

Лёха сглотнул.

— И все они — боги?

Хорс посмотрел на него долго.

— Все они — люди, — сказал он. — Просто у них было много времени, чтобы этому научиться.

— Ты сейчас в другом времени, — произнёс Хорс. — Чужие звёзды ты уже заметил. Море — тоже чужое. И я, понимаю, чужой. Это называется «узел».

— Сетей, по которым мы ходим, несколько, и не все они для тебя. Есть сети для кораблей — по ним мы пришли сюда с Ингарда, на виманах. А ты шёл не кораблём: ты вошёл в сеть, которую мы проложили здесь, по времени самой этой земли, — в проходы между твоим настоящим и тем, что мы храним. У неё девять узлов. Девять — чтобы никто не мог держать всё в одной руке.

— Девять узлов, — повторил Лёха. — А шар — это что?

— Шар — это навигатор. Он был в нашей сети с самого начала, переходил из рук в руки, от узла к узлу, как переходит по дежурству ключ дежурного. Ты в него вошёл — значит, навигатор признал тебя своим. Считать это случайностью я тебе не мешаю: у людей должно оставаться место для слова «случайность».

Лёха смотрел на него. Хорс отвечал на каждый вопрос тихо и спокойно, но в самом начале, в самых первых фразах, сказал и предупреждение — тогда это был просто звук, а смысл лёг в голову сам, как вчерашний сон, и поднялся из памяти только сейчас:

— Не подходи к тем, кто похож на тебя, — бросил Хорс. — Два одинаковых тела в одной точке — конец. Это закон сети. Ты его узнаешь, когда встретишь. Поверь мне: лучше узнавать его, когда тебя предупредили.

Лёха поёжился: фраза легла неожиданно тяжело, как будто над ним на секунду прошла тень.

— Похож на меня? — переспросил он. — В смысле — на меня?

— На твою точку сбора, — выговорил Хорс и не стал пояснять. — На, возьми. — Он протянул Лёхе небольшой предмет — плоскую костяную пластину, гладкую с одной стороны и шершавую с другой, с вырезанным по краю тонким узором.

Лёха взял её. Пластина была лёгкой, приятной на ощупь, как и всё в этом месте, и на её белой поверхности, если смотреть на свет, проступал знак: круг, рассечённый девятью дугами. Тот же, что на шаре. Тот же, что в дедовом журнале на последней странице. Тот же, что мелькнул в офисе компании — на листе бумаги, который он подписал, чтобы сюда приехать, и о котором до сих пор старался не думать.

— Это «зарубка», — добавил Хорс. — Ключ. Первый из девяти. С ним тебя будут пускать туда, куда не пускают чужих. Береги его: он вернёт тебя, когда сеть почувствует, что ты готов.

Лёха спрятал пластину.

Они стояли на берегу, и Хорс молчал, глядя на башни, как будто давал Лёхе время привыкнуть к виду города, стоящего на воде, — города, который он не мог назвать.

— Здесь живут? — спросил он.

— Здесь учатся, — ответил Хорс. — Порт — это мастерская. Там, где ты родился, стоят сейчас другие сады: у людей есть память о том, что мы строили, но мало кто помнит, что это строили мы. Ты увидишь. Сегодня тебе покажут то, что можно показать.

Из-за башен, из глубины, где море темнело, шла к берегу женщина. Лёха видел её ещё издали: она шла по воде, как по набережной, и подошла, не делая ни одного лишнего движения. Высокая, с тёмными волосами, в светлой одежде — не такой белой, как у Хорса, а мягкого цвета, как старый лён.

Хорс почтительно склонил голову.

— Мира, — кивнул он в её сторону. — Проводница этого места.

Мира подошла, и Лёха на секунду забыл, о чём собирался спросить. Она смотрела на него не как на человека, которого привела сеть. Она смотрела на него с тем же странным узнаванием, что было в его собственной груди, когда он впервые увидел Хорса, — только сильнее, глубже, и при этом совершенно спокойно, как будто она знала, что увидит, и всё же увиденное её тронуло.

— Твоя сборка целая? — спросила она.

— Я... что? — переспросил Лёха.

— Она спрашивает, полная ли у тебя сборка, — пояснил Хорс. — Это её работа — проверять. Она проводница этого места.

Мира протянула руку. Лёха, как во сне, протянул ей свою — и она, вместо рукопожатия, неожиданно и мягко взяла его за запястье — как берут руку, когда проверяют пульс. Карие глаза с секунду держали его.

В эту секунду голос внутри Лёхи дёрнулся — не переводом, а чем-то другим. На мгновение перед глазами вспыхнул образ: не этот берег, не эти башни, а другое место — тёмное, холодное, с запахом металла и крови. И чей-то голос, хриплый, чужой: «Они лгут. Не все.»

Лёха моргнул. Образ исчез.

Мира отпустила его запястье и посмотрела на Хорса — быстро, остро.

— Он видел, — сказала она. Не вопрос.

— Что видел? — нахмурился Хорс.

— Не твоё дело, — бросила она. И повернулась к Лёхе: — Забудь, что увидел. Пока.

Лёха хотел спросить — но она уже шла в сторону башен, не оглядываясь.

— Полная, — бросила она Хорсу через плечо. — Очень старая линия. — И добавила, глядя уже не на Хорса, а на Лёху: — Я проведу тебя по порту. Здесь многое надо увидеть глазами, а не через меня.

Лёха не нашёл, что ответить. Внутри, под рёбрами, голос шевелился, разбирая её слова, — сбивчиво, обрывками, как разбирают мокрые листья:

— ...перевод: «полная сборка»... подтверждение: [ДАННЫЕ НЕПОЛНЫ]...

Лёха сжал губы, чтобы не ответить голосу вслух, — и поймал на себе сразу два взгляда.

Хорс смотрел так, как смотрит человек, узнавший то, что надеялся не увидеть. Он ещё на берегу сказал, что голоса в носителе быть не должно, — и всё же голос был, он разобрал её слова у Лёхи в груди, и Хорс слышал, как он это делает.

Мира смотрела иначе — не удивлённо, но настороженно, как смотрят на чужие следы, которых здесь никто не оставлял.

— Ты слышишь его? — спросила она Хорса. Не вопрос — сверка: что они видят одно и то же.

— Я слышал его ещё на берегу, — ответил Хорс. — Он трижды переводил одну и ту же фразу, пока не собрал язык. Сеть приняла его. Сеть — приняла.

Мира перевела взгляд на Лёху и долго смотрела на него, как будто решала, что с этим делать.

— Тем, кто будет встречать тебя в порту, — проговорила она наконец, — лучше не знать, что в тебе кто-то есть. Чужой разум в носителе — это не та новость, которую носят по улицам.

— Это плохо? — спросил Лёха.

— Это правда, — отозвалась она. — Ты носишь больше, чем носитель, и мы не знаем, что это значит. — Она помолчала. — Идём. Я проведу тебя. Пока что — идти.

Лёха шагнул следом. За его спиной, на берегу, остался Хорс — и, даже не прощаясь, только посмотрел ему в спину, тихо, почти про себя.

Лёха обернулся на миг. Хорс уже смотрел на башни, на море, на завтрашний день — с той смесью печали и терпения, какая бывает у тех, кто знает развязку и всё равно рассказывает эту историю сначала.

И Лёха пошёл за Мирой в город на воде — туда, где голос внутри него, разбитый на обрывки, медленно, но верно собирался в единую строку.

Глава 7. Свидетель

Город стоял на воде и не нуждался в стенах — Лёха понял это сразу, как только ступил с дороги на площадь. Строения поднимались из мелкой яркой волны, как живые: без окон в нашем смысле, с гладкими переходами между этажами, где не было видно ни одного шва. Вода между ними была чистой до дна. По ней ходили люди — не много, не мало, ровно столько, чтобы город не казался пустым и не казался толпой.

«Толпа» — подумал Лёха и сам себе удивился. Он ещё не выбрал, что думать об этом месте, а мозг уже принялся классифицировать: чисто, тихо, ни одного мусорного бака, ничего лишнего. Как в дата-центре.

Мира шла рядом, на полшага впереди, и молчала. Она не смотрела на него — она смотрела на город, как смотрят на свою работу: достаточно, чтобы убедиться, что всё на месте, и недостаточно, чтобы это обсуждать. Лёха шёл следом и пытался не спотыкаться от того, как легко она ходит по воде.

Он смотрел по сторонам и не мог насмотреться. Двери здесь не имели ручек — они уступали шагу, открываясь чуть раньше, чем он успевал протянуть руку. Свет входил в комнаты вместе с человеком и гас, когда человек выходил, и Лёха заметил это только к вечеру, когда оглянулся на вход и увидел, как комната, из которой он вышел, темна уже без него. Дороги под ногами не пылили: что-то неустанно протирало их снизу — царапать их было нельзя, но и пачкать не выходило. А в мастерских, мимо которых они прошли дважды, станки работали без единого провода — энергия шла по самим стенам, как по жилам; Лёха догадался не сразу — только когда увидел, что ни один станок не подходит к розетке, потому что розеток здесь просто не было.

— Вы всё строите так? — спросил он, когда они вышли на широкую набережную, где свет шёл из-под воды, ровный, как подсветка клавиатуры.

— Мы строим так, как удобно, — ответила она. — Тебе кажется, что это красиво. Мне кажется, что это надёжно. Никто из нас не говорит об этом вслух.

— А почему?

Она чуть замедлила шаг — он не замечал этого с тех пор, как они вышли.

— Потому что людям нравится, когда красиво. Им спокойнее так спать.

Лёха не нашёл, что ответить, и пошёл дальше. Слова её не разозлили — они застряли в нём, как застревают чужая строка кода, которую не сразу разберёшь, но понимаешь, что она важная.

Мира привела его в комнату на верхнем ярусе. Дверь уступила им, как калитка, — и внутри оказалось тихо и тепло, и Лёха долго не мог понять, откуда тепло, пока не опустился на колени и не тронул пол ладонью. Пол дышал теплом — тихо, без причины, как будто так и должно быть, — и это показалось Лёхе чудом страннее любого чуда: город на воде, голос в груди, перевод с древнего — а вот это, пол под ладонью, к которому невозможно остаться безразличным, зацепило сильнее всего.

У окна, в каменной миске, стояла вода — пить. На низкой постели лежала ткань, мягкая, как-то по-неправильному живая, и Лёха, прежде чем лечь, долго тёр её между пальцами, пытаясь понять, из чего она сделана, и не понял.

На круглом столе ждал ужин. Лёха не стал спрашивать, из чего это: тёплое, мягкое, слегка солёное, пахнущее морем и чем-то, чему он не подберёт слова. Он не ел со вчерашнего дня — с самой тайги, — руки дрожали, и он ел молча, руками, и только к концу, вытерев пальцы о ту самую ткань, позволил себе остановиться и посмотреть в окно.

За окном стоял город — тихий, ровный, освещённый изнутри, — и Лёха понял: он не мёрз уже много дней. Он лёг и провалился в сон, как в воду, — без снов, до самого утра.

На второй день Мира повела его дальше — туда, где город смыкался с чем-то, что Лёха сначала принял за парк.

Он ошибался.

Парков в его детстве не было. Были дворы, у дворов не было имени. А здесь, за низкой оградой, тянулись ряды — не грядок, не клумб, а ровных платформ, на каждой из которых стоял полупрозрачный сосуд с мутной жидкостью. Внутри, в жидкости, Лёха увидел то, от чего остановился, как будто его отключили.

Сосуды были наполнены не растениями.

Он не стал задавать вопрос — не потому, что испугался, а потому, что не знал, как его сформулировать. Сосуды стояли рядами, как серверные стойки. У каждого был вход для подачи света и набора трубок, похожих на капельницы. Внутри плавало что-то янтарного цвета, что медленно росло, поворачиваясь к источнику света с той же безошибочной уверенностью, с какой поворачиваются ростки к окну.

— Это «сад», — сказала Мира, остановившись рядом. — Мы растили здесь тогда, когда ещё не умели растить иначе.

Лёха сглотнул.

— Что это растёт?

— Разум, — ответила она, и в голосе её не было ни тени пафоса — только усталость, привычная, как кашель курильщика. — Не суди. Мы делали это не жестоко и не с добротой: мы делали это, как учили. Здесь не было жестокости. Здесь была инженерия.

Лёха смотрел на ряды. Он вспомнил офис, где подписывал договор; вспомнил дедов журнал с рисунком, похожим на схему; вспомнил, как в детстве отец говорил: «Лёха, не всё надо понимать, чтобы жить».

— Это не храм, — выговорил он вслух, сам не заметив.

— Что?

— Это серверная, — сказал Лёха. — Я с детства разбирал серверные. У вас здесь всё как у нас: стойки, подача энергии, охлаждение, резервирование. Только вместо процессоров — это. Вы растите не богов. Вы растите людей.

Мира посмотрела на него долго. И на этот раз в её взгляде появилось что-то, похожее на уважение — то самое, каким смотрят на того, кто увидел за декорацией схему.

— Ты первый из ваших, кто сказал это мне вслух, — тихо сказала она. — Обычно они говорят: «боги». Это их выбор — благодарить нас так за знания и опеку. Мы не спорим.

Лёха не знал, что на это ответить, поэтому не ответил. Он стоял и считал ряды — и чем дольше он считал, тем яснее понимал, что их тысячи.

По дороге обратно Мира показала ему других.

В мастерской у самой воды работал человек — тёмноволосый, кареглазый, с руками, которые двигались быстро и точно. Он паял что-то — или варил — Лёха не понял: искра была белой, почти слепящей, а металл под руками человека тёк, как воск.

— Рассен, — тихо сказала Мира. — Мой род. Мы строим: города, машины, сады. Из всех четырёх родов мы единственные, кто до сих пор не научился стоять в стороне, когда что-то растёт не так.

Рассен поднял голову, посмотрел на них — коротко, деловито — и кивнул. Потом снова уткнулся в работу.

— Он не обиделся? — спросил Лёха.

— Он занят, — ответила Мира. — Рассены не обижаются. Они делают.

Лёха смотрел, как металл течёт под руками, — и понял, что это не ремесло. Это инженерия. Только вместо паяльника — руки, и вместо припоя — воля.

В низкой башне у самой воды сидел человек — голубоглазый, белокурый, с тонкими пальцами, которые двигались по глиняной пластине быстро и точно, как будто он не писал, а

высекал. Рядом с ним стоял лоток с такими же пластинами — исписанными, высушенными, готовыми. Человек не поднял головы, когда они вошли. Он не посмотрел на них, когда они вышли.

— Святорус, — тихо сказала Мира. — Они записывают всё. Каждое слово, каждый день, каждое решение. Остальные роды говорят — они помнят.

— Зачем? — спросил Лёха.

— Чтобы после нас осталось не «было», а «вот как было». — Она помолчала. — Мы, Рассены, строим. Они хранят. Это разные виды памяти.

Лёха посмотрел на глиняные пластины — их были сотни. И понял, что это не архив. Это — база данных. Только вместо битов — слова, вместо дисков — глина.

На верхней площади, у фонтана, который бил из самой воды, стоял старик. Волосы — белые, как иней, глаза — серые, как старый лёд. Он смотрел на город так, как смотрят на свою работу: достаточно, чтобы убедиться, что всё на месте, и недостаточно, чтобы это обсуждать.

— Да'Арийц, — сказала Мира. — Старейшины. Они помнят то, чего не было при их жизни.

— Как это? — Лёха не понял.

— Память рода, — ответила она. — Каждый Да'Арийц носит в себе то, что знали его предки. Они не учат — они вспоминают.

Старик повернулся, посмотрел на Лёху — долго, внимательно, как будто видел его насквозь. Потом кивнул — и пошёл дальше, не сказав ни слова.

— Он узнал тебя, — сказала Мира.

— Откуда?

— Не знаю. Но Да'Арийцы редко ошибаются.

Обедали на террасе над водой. Еда была той же, что вечером, — но теперь, на свету, Лёха рассмотрел её: что-то вроде каши с волокнами, похожими на морские водоросли. Он ел и не спрашивал, и Мира, глядя на него, усмехнулась.

— Ты даже не спросил, что это, — сказала она.

— Спрошу, когда пойму, — ответил Лёха. — Пока мне хватает.

— Хорошая привычка.

Она помолчала, глядя на воду, и вдруг заговорила сама — без вопросов, без проводнического тона, каким водят гостей, а так, как говорят, когда наконец нашли того, кому можно.

— Мой род — Рассены. Мы сеятели: мы всегда берегли — сначала влагу и почву, потом сады, потом города. Из всех четырёх родов мы единственные, кто до сих пор не научился стоять в стороне, когда что-то растёт не так.

— А «сад», что ты показала, — не так, — сказал Лёха.

— Не так, — согласилась она. — Там не ждут — там торопят. Я не люблю туда ходить.

— Но ты водишь туда гостей?

— Я вожу туда тех, кто должен увидеть. А если я уйду — туда пойдут те, кому легче. Пусть там буду я: я хотя бы вижу, когда оно неправильно.

Лёха отложил миску. Смотрел на неё — и вдруг понял, что ни разу не видел её растерянной. Проводница, инженер, ровная, как её дороги. А сейчас, говоря о саде, она была почти обычной: усталой, открытой, некрасиво-честной.

— Ты злишься на них? — спросил он.

— На кого?

— На тех, кто построил «сад». На ваш род.

Она посмотрела на него с интересом: он задал не тот вопрос, который ожидали, а тот, который нужен.

— Злиться — это роскошь тех, кто живёт мало, — сказала она. — Я жду. Мы, Рассены, умеем ждать: семя не злится на почву. Оно ждёт. — Она помолчала. — Но если оно захочет

расти в сторону чужих — вот на это я, пожалуй, готова. Даже если мне придётся ждать ради этого дольше, чем удобно.

Лёха не понял, о чём она — вся эта фраза была длиннее, чем он успел усвоить, — но почувствовал, что она о настоящем, а не о музейном. Он посмотрел на неё поверх края чашки — и поймал себя на том, что смотрит на неё дольше, чем нужно, и не знает, куда это положить.

Она не отвела взгляда. Только спросила тихо:

— Тебе нравится здесь?

— Не знаю, — честно сказал Лёха. — Мне пока не с чем сравнить.

— Вот это мне и нравится в людях, — сказала Мира. — Они сравнивают нас со снами. А ты — с серверными. Это даже не смешно и не грустно — это правда, а правда у нас сегодня редкость. Это тебе и нужно, чтобы видеть.

Она поднялась, забрала миски и ушла — без прощания, как уходит тот, кто знает, что вернётся. Лёха ещё долго сидел над водой, смотрел на город и думал, что впервые в жизни разговаривал с кем-то так, что не хотел, чтобы разговор заканчивался.

На третий день Хорс нашёл его сам — на верхней террасе, где город смотрел на море и где ему даже начинало казаться, что место это знает его. Лёха стоял у парапета, смотрел, как солнце разбирает по частям горизонт, и думал о том, что за пару дней не встретил ни одного, кто задал бы ему вопрос. В этом городе его принимали как данность — и это было страннее любых вопросов.

— Ты хорошо молчишь, — сказал Хорс, подходя. — Редкое умение у тех, кто видит, как мы работаем.

— Я не немой, — отозвался Лёха.

— Я и не говорю, что ты немой. — Хорс встал рядом, оперся локтями на парапет. — Гляди.

Он кивнул на воду — там, внизу, по воде шёл человек с инструментами.

— Видишь? Он чинит дорогу. Не потому что сломалась — потому что кто-то может споткнуться. Мы не ждём, пока упадут. Мы чиним до.

Лёха смотрел. Человек действительно чинил — медленно, тщательно, как будто дорога была не дорогой, а живым существом, которое нужно лечить.

— Это и есть то, что вы делаете? — спросил он.

— Это и есть то, что мы делаем, — повторил Хорс. — Не молитва. Не воля. Руки и машины. Свет в башнях, тепло в стенах, дороги на воде — это работа. Если однажды ты скажешь это здесь вслух — тебя поймут такие, как Мира. Больше никто.

Он долго смотрел на воду. Потом сказал:

— Ты читаешь город как инженер, а не как прихожанин. Для этого ты и нужен. Людям нельзя сейчас знать всё — рано. Но тебе можно. У тебя полная сборка: та линия, где четыре ветви сошлись в одну.

— Вместилище, — сказал Лёха. — Звучит как контейнер.

Хорс усмехнулся — впервые с их встречи, и усмешка сделала его моложе лет на тысячу.

— Контейнер тоже, — сказал он. — Но контейнер, в котором сеть за десятки тысяч лет нашла точку опоры. Не принижай себя этим словом. Принижай себя делом.

Они стояли ещё долго. Посередине города, над светящейся башней, медленно поворачивалось что-то, что Лёха сначала принял за облако — а потом понял, что это монитор, сложенный в кольцо, и что на его внутренней поверхности бегут строки, которых он не может прочитать, но смысл которых угадывает. Он не сказал об этом Хорсу. Сказать было нечего: Хорс уже всё сказал.

До третьего дня Лёха почти поверил, что так и будет: утро — город, день — вода, вечер — тёплый пол. Он успел привыкнуть к тому, что двери растворяются перед шагом, что свет знает, когда нужен, что еда приходит сама, а вода в миске у окна никогда не заканчивается. Он

дважды проверил шар в кармане — тот был на месте, живой и гладкий, — и оба раза убрал его обратно, не решаясь даже подумать о том, что он здесь делает.

А на третий день, к вечеру, Лёха взял шар в руку — и понял, что внутри что-то изменилось.

Он не услышал — почувствовал. Сначала лёгкий гул, как будто что-то внутри набирало обороты, потом тепло, которое пошло вверх по руке. За рёбрами, где селился голос, что-то встало на место — и голос заговорил не обрывками, а целыми строками:

— ...заряд: [КРИТИЧЕСКИЙ]... лимит связи: исчерпан... возврат: носитель... выполняю...

Лёха вскинул голову. Мира стояла в нескольких шагах, у выхода на набережную, — она пришла, чтобы позвать его, и замерла, увидев его лицо.

— Что с тобой? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Лёха, и это было правдой. — Что-то...

Шар в ладони разгорелся добела. Свет ударил из-под пальцев, как из-под клавиши, на которую нажали слишком сильно. Лёха оглянулся на город — на башни, на воду, на Миру, которая смотрела на него с тем самым выражением, с каким смотрят на вещь, которую уже хоронили и которая вдруг ожила.

— Мира, я...

Она шагнула к нему — и в этот же миг свет вокруг сомкнулся.

Это не было похоже на путь в шар. Тогда он шёл сам, по пояс в воде, сквозь дождь. Сейчас его тянуло — рвано, как тянут за нить, как дёргают с верёвки, когда время выходит. Город, вода, Мира, её протянутая рука — всё это на миг показалось ему изнутри, сверху, как смотрят из люка на тонущий корабль, — и отпустило.

Он упал на колени в мокрую траву.

Тайга. Болото. Рассвет. Небо над болотом светлело той же синевой, какая бывает один раз, — перед тем как случится что-то главное. Холодный мох под коленями, в нос — запах сырости и торфа, от которого он за эти три дня успел отвыкнуть. Где-то очень далеко, за чёрной кромкой леса, ещё мигала одна-единственная точка — или это была молния, мигнула и погасла.

Тело было тяжёлым — таким тяжёлым, как будто он впервые за три дня вспомнил, что у него есть кости. Лёха сидел на коленях, сжимал шар и смотрел на чёрную воду, у которой всё это началось. Холод пробирал через мокрую одежду, и этот холод был настоящим — не тем теплом, которое дышало из пола, не тем светом, который знал, когда нужен. Этот холод не заботился о нём. Этот холод просто был.

Где-то под рёбрами, тихо, обрывками, как в первый раз:

— ...возврат завершён... заряд: [0,01%]...

— Ты всё видел, — сказал Лёха шёпотом. — Ты всё записал.

Шар молчал.

— Я тоже, — выдохнул Лёха. И, помолчав, добавил:

— Я свидетель. Я всё записал.

Над болотом опять легла тишина — злая, как мёртвины, тёплая, как тот город, который он только что покинул. Лёха поднялся, спрятал шар, оглянулся на обломки — они были здесь, на месте, сколько бы минут ни прошло в этом мире, — и пошёл туда, откуда доносился говор чужих людей.

Глава 8. Возвращение

Он не сразу понял, что вернулся. Сначала был запах — гниль, мох, вода, тот самый таёжный набор, от которого он успел отвыкнуть за три дня, — и этот запах ударил первым, до того, как тело вспомнило, где оно лежит. Потом был холод. Потом — свет: не тот, тёплый, из-под воды, а бледный, утренний, синеватый, какой бывает один раз — перед тем как случится что-то главное.

Лёха стоял на коленях в мокрой траве и не мог отдышаться. Только что был город на воде, живая сеть, светящаяся башня над набережной, Мира с протянутой рукой — и вот это. Он сжал шар в ладони, оглянулся: мёртвины на месте, чистый круг на месте, чёрная вода на месте. Словно он остушился и встал — и только ветер всё это время свистел у него в ушах.

Сколько времени прошло? Он честно не знал. Три дня — там, в городе на воде. А здесь — тот же бледный рассвет, та же синева, что была, когда он вошёл. В груди, под рёбрами, ровно и тихо сидел голос — потрескивал, как остывающий механизм. Лёха поднял глаза на чёрную кромку леса. Там, где были обломки, — горел свет.

Не костёр. Проекторы.

Он поднялся. Постоял. Достал из-за пазухи дедов журнал — целый, сухой, на месте — и вернул обратно, туда, где дед учил держать ценное. Потом взял шар и молча спрятал его во внутренний карман куртки, поверх ватной подкладки. Шар был тёплым, гладким и весил ровно столько, сколько весит зажигалка, — и помещался в кулаке так, что никто бы не заметил, что он там держит.

Когда он вышел к обломкам, его встретили проекторы, брезент и люди в форме.

В лагере всё уже стояло: тент, под которым вывернутым наизнанку лежал салон, — кто-то аккуратно, по-военному, разложил его секциями, как разбирают часы; вертолёт с погашенным винтом на дальнем краю поляны; и вдоль кромки леса — ровные следы шин, которых вчера тут не было и быть не могло.

Лёха прикинул, когда это всё поставили: не в сорок минут. Лагерь вырос за ночь и утро, пока он был в городе на воде. Сорок минут внутри одного рассвета было только его тайной; для остальных здесь шли третьи сутки, и они никуда не торопились.

Спасателей было больше десятка, но Лёха не считал себя зрелищем. Он шёл грязный, мокрый, с рассветной травой на спине куртки. Ладони у него были чище, чем у любого из них. И чувствовал он себя единственным, кого здесь никто не разобрал.

Его заметили. Первый из них не закричал «живой!» и не побежал навстречу — просто встал, поправил шапку, убрал руки в карманы и смотрел, пока Лёха подходил. Так смотрят на того, кто выходит из тайги, из которой нет выхода.

— Стой, — сказал он, чуть повыше, чем нужно. — Кто.

— Выживший, — отозвался Лёха. — Рейс семьсот тридцать.

Пауза. Второй, подошедший сбоку, был уже в куртке с нашивкой МЧС, руки в перчатках, — но Лёха жил среди людей, которые работают руками, и сразу увидел: эти руки за всю жизнь не трогали ничего тяжелее рации. Спасатель не выглядит так, будто пришёл пообщаться. Спасатель выглядит так, будто пришёл вытаскивать.

— Ветров, — сказал второй, заглядывая в планшет. — Алексей... Алексей Ветров. Ты числишься у выживших. Поисковики встревожены. Пропал третьи сутки.

Лёха кивнул. Сказать, где он был, было нельзя. Сказать, что он просто отошёл за водой, было можно — и он сказал то, что можно:

— Контузия. Очнулся, пошёл за водой, не нашёл дорогу. Слышал гул, шёл на голос вертолёта. Всё.

— Гул? — переспросил первый, без перчаток, и в голосе его было что-то вежливо-тоскливое, как у человека, который слушает одну и ту же запись сотый раз. — Гул какой? Где?

— У болота, — сказал Лёха. И, глядя прямо в глаза, добавил: — Винты ваши гудели. Я на них и вышел.

Человек улыбнулся — но улыбка не дошла до глаз, и Лёха знал эту улыбку: так улыбаются те, кто уже получил ответ, который хотел, и теперь будет проверять его сам, не спеша и не спрашивая больше, чем нужно.

— А шар, — спросил человек вдруг, ровно, как говорят о неважном. — Шар не видел?

Лёха внутренне замер. Наружно он стоял — грязный, замёрзший, насквозь честный, — и слышал, как внутри, ровно-ровно, поправляет ответ голос, которого нет: он прозвучал один раз, коротко, сухо, как щелчок: «не называй слово — координата».

— Шар? — повторил Лёха, как человек, у которого уши в вате. — Какой шар? Там, на болоте, полно коряг на дне. Я чуть не сел на одну.

Человек смотрел на него долго. Потом перевёл взгляд ниже — на левую руку Лёхи, на ладонь: ссадина затянулась гладкой розовой кожей — такой, какой ладонь не бывает даже через сутки, — и что-то из глаз спасателя ушло. Лёха убрал левую руку в карман, к шару, и сжал тёплый металл, как ребёнок сжимает игрушку, которую не хочет выпускать.

Палатка, кофе, вопросы. Вопросы были те же, что и у первого, только в другой обёртке: медик, укладывая его на носилки, спросил, не находил ли он «предметов, похожих на контейнеры», и посветил в глаза фонариком; курсант, записывая показания, спросил, не гудело ли что-то рядом с болотом, «как трансформаторная будка». Лёха на каждый вопрос отвечал своей историей: контузия, вода, вертолёт. И каждый раз, отвечая, чувствовал, как за рёбрами, в полной тишине, поправляет слова кто-то, кто слушал его ответы и знает заранее, какие из них ложь.

Его увели из тайги до того, как спасатели успели поднять с воды что-то ещё. А может — просто до того, как один из двоих с рациями подошёл ближе к болоту и посмотрел туда, откуда вышел Лёха. Смотрел так долго, что Лёха отвернулся и попросил себе ещё одеяло — лишь бы не видеть, как тот стоит.

Вертолёт. Гул винтов, который наконец был честным — как раз тот гул, на какой он сослался. В палатке, перед самым вертолётom, Лёха переложил шар из кармана куртки за пазуху — к коже, ближе к сердцу, по-дедовски, — и теперь сидел, завернутый в термофольгу до подбородка, держа обе руки на груди, где под курткой, у сердца, лежал тёплый металл. Он боялся одного: что его вытрясут. Что в госпитале снимут куртку, разложат вещи, пересчитают — и выложат на стол тёплый медный шар, который нельзя объяснить, и дедов журнал, который объяснял слишком много.

Журнал он придумал, как прятать, заранее — ещё в палатке, в последний час: сунул его под пояс, плашмя, вдоль спины, как учил дед прятать документы: к коже, под ткань, там, где наклоняются и человек сам держит. Один раз, когда его перекладывали на носилки, журнал уткнулся ему в позвоночник, и Лёха даже не поморщился — он почувствовал всю жизнь деда, переплёт, карту, слова, которые теперь были его единственным настоящим имуществом, — и это было даже спокойнее, чем шар.

Шар лежал у сердца и молчал. Лёха засыпал под честный гул винтов, и перед сном, в полусне, из-под рёбер поднялось — впервые целиком, без обрывков:

— ...связь: восстановлена. трансляция: ограничена. носитель: в зоне контроля...

— Кто ты? — выдохнул Лёха одними губами, не открывая глаз.

— ...позднее... — сказал голос. — сейчас — молчи. те, кто спрашивает про груз, — не те, кто ищет выживших. они ищут тебя.

— Зачем я им?

— ...ты — свид... — голос осёкся, сбился на старой частоте, на обрывке, как всегда после двух слов. — ...носитель. запись. накопление: 0,011%. продолжай.

И всё. «Врёшь», — мелькнуло у Лёхи, пока вертолёт разворачивался над тайгой: не 0,011. Я просто ещё не знаю, как ты считаешь.

Госпиталь был не столичный: два этажа, серая штукатурка, палата на три койки, из которых занята была одна — его. Медики сняли одежду, Лёха отдал промокшую куртку без малейшей дрожи в пальцах, и только после того, как за ними закрылась дверь, выдохнул. Шар — тёплый, гладкий — он не отдал. Пока сестра записывала протокол и никто не смотрел на его ноги, Лёха переложил шар из-под футболки в носок, под бинт на голени, и до самого вечера не доставал, ощущая его как пульс, который чужой не видит.

Он лежал, смотрел в потолок, слушал, как за стеной капает кран, и разбирал по винтикам последние сутки, как разбирал чужой код: тайга — шар — прыжок там, где вход, — возврат, который выкинул его на рассвете, — лагерь, где спасатели умели только задавать вопросы. К нему трижды заходили: сестра (градусник, таблетки, улыбка), врач (протокол, контузия, «память вернётся»), охранник у двери (молодой, скучающий, смотрел в телефон). Никто не спросил про шар. Никто не спросил про болото.

И это было хуже допроса.

Ночью, когда палата вымерла до гудения лампы, Лёха сел на койке и достал шар из-под бинта. Положил его на прикроватную тумбочку — нагретым, как обогретый ладонью камень — и долго смотрел. Шар стоял на холодном пластике и молчал. И вдруг — тихо, деревянно, как подключённый провод: загудел. Коротко. Ровно. Четырнадцать секунд, подумал Лёха, и вздрогнул: он снова считал. Считал то, чего не слышно никому: гул повторился, как удары пульса, — не громко, но под это гудение, как под метроном, всё в палате выравнивалось: кран, лампа, его собственное сердце.

Лёха сидел, смотрел на шар и боялся двух вещей одновременно: что гул услышат в коридоре и что гул услышит он сам до конца — потому что тогда придётся признать, что это не побочный эффект контузии, и что-то в этой комнате, на тумбочке, смотрит на него его же собственной памятью.

Снаружи, в коридоре, раздались шаги.

Не сестринские — не торопливые, не тапки по линолеуму. Чёткие, размеренные, в обуви, которую не снимают в палатах, шаги того, кто идёт сюда не за градусником.

Лёха накрыл шар ладонью. Гул ушёл ему под кожу мгновенно, беззвучно, как прячется светлячок, — и стал пульсом, который никто в этой больнице не запишет.

Шаги остановились за дверью.

Глава 9. Допрос

Шаги за дверью остановились. Лёха сидел на койке, накрыв шар ладонью, и смотрел на дверную ручку так, как смотрят на ручку, которой в палате быть не должно: у дверей, ведущих в ночь, ручка движется только с одной стороны.

Ручка двинулась.

Дверь открылась не со скрипом — со щелчком, мягким, привычным, — щелчком человека, для которого эта дверь не первая и не последняя. В палату вошёл мужчина в гражданском: пальто поверх свитера, никакого халата, никакого бейджа. Он не включил свет — включил только лампу над дверью, добавил к ней ещё одну, настольную, поставил её на тумбочку, и всё это время не сказал ни слова, а Лёха молчал, потому что с ним тоже говорят молчанием, когда хотят посмотреть, что в нём.

— Доброй ночи, — сказал мужчина, устроившись на стуле напротив, и голос у него был усталый, вежливый и тяжёлый — голос человека, который полсотни раз в год снимает с людей одну и ту же историю. — Гаврилов. Старший следователь Следственного комитета по Иркутской области. — Он положил на колени папку, распустил тесёмки, и Лёха увидел, как из неё вывалился угол документа. — Ты уж не взыщи, Ветров. Ночь — лучшее время для честных ответов. Врачи говорят: у тебя лёгкая контузия, память плавает. Вот я и решил не торопиться: пока плавает, посижу, помогу вспомнить.

Лёха молчал. Он смотрел на документ в углу папки — на печать, на подпись, на угловой штамп, — и сердце у него, ровно и сухо, просто щёлкнуло узнаванием:

в углу документа, в верхней части листа, стоял круг с девятью дугами.

Тот же круг, что на стене переговорной. Тот же, что на печати внизу договора, который он подписал в начале недели. Тот же, что в дедовом журнале на последней странице. Тот же, что выгравирован на боку медного шара, который лежит у него под ладонью.

Лёха не дрогнул. Он подержал взгляд на полсекунды дольше, чем положено держать взгляд на служебном штампе, а потом убрал его: на Гаврилова, на окно, на капельницу, которая пикала у изголовья. Без спешки, как убирают взгляд с неважного.

Гаврилов проследил за его глазами и спросил, не взглядом, а голосом:

— Сколько вас было в лагере, когда ты ушёл за водой?

Нас было пятеро, подумал Лёха. Стюардесса, женщина в плаще, мужчина с перевязанной головой, я — и сосед по ряду, который сидел на обломке крыла целый, смотрел в один и тот же лес и потом встал и ушёл в этот лес, как будто самолёт кончился ровно на том месте, где ему нужно было выйти. Но вслух он ответил:

— Трое. Стюардесса, женщина, мужчина с головой. Я — четвёртый. Только я уходил за водой один, и назад не вернулся.

— А пятый? — спросил Гаврилов спокойно, как спрашивают про погоду. — Сосед по ряду, с которым ты летел Москва—Иркутск. Высокий, светловолосый, без единой царапины. Ты его не помнишь?

Лёха помнил. Он помнил, как сосед сидел в кресле во время тряски, ровный, как прибор, который не положен в самолёт; помнил, как тот смотрел на него в салоне, не отводя глаз; помнил, как он стоял у кострища, не приближаясь к огню, потому что ему не было нужно тепло. Но последние дни Лёха видел этого человека в другом месте, в другой одежде, на берегу другого моря — и это было то, о чём нельзя говорить ни одному следователю, потому что за такие слова не допрашивают — за такие слова увозят.

— Не помню, — отозвался Лёха. — Трясло, потом темнота, потом обломки. Лица в обломках плавали, я не разглядывал.

Гаврилов не спорил. Он открыл папку, достал лист, показал Лёхе — и Лёха узнал его мгновенно, всем телом, хотя был готов к чему угодно. Это была фотография: тайги с высоты, снимок со спутника, и на нём, среди зелёной ряби болот, — тёмный, ровный круг, вырезанный из мха, будто неведомой рукой.

— Вот это, — Гаврилов ткнул пальцем в снимок, — место, где ты провёл те сутки, что тебя искали. Чистый круг, в котором не растёт ничего. Мы не спрашиваем, что ты там делал: магнитная аномалия, с приборами туда не суются, и с вертолётá не снять — не приземлится. Нам интересно другое, Ветров. Ты вышел оттуда на рассвете, свежий, не голодный, не обмороженный, с чистыми руками — и не в том месте, где тебя бросили искать. Ходить по тайге, где никто не знает дорогу, не учатся за сутки. Это ты сам делаешь, Ветров, или тебе кто-то помогает?

Лёха сглотнул. Под рёбрами, ровно и тихо, заговорил голос — кратко, сухо, без вопроса: — *...меньше слов... они не слышат, что ты говоришь — они слушают, как ты молчишь...*

Лёха не стал делать вид, что не слышал. Он задержал дыхание, сжал шар под ладонью и произнёс медленно, как говорят уставшие люди, — каждое слово подбирая так, чтобы оно соединялось с водяной легендой:

— Я не ходил по тайге, Гаврилов. Я полз. Контузия — это когда помнишь себя, а ноги не переставляются. Я завалился, лежал, вставал и лежал. Проснуться — нашёл дорогу по вышке, что торчит над лесом, и пошёл на её высоту. В болото я не лез: болото там ниже всего, а вышка выше. Вы берёте то, что у вас на снимке круг, а я брал то, что у меня под ногами — уклон. Дед-геолог учил, по-другому не умею.

Гаврилов смотрел на него долго. Долго — это было его главное оружие: он смотрел, и Лёха физически чувствовал, как его укладывают на анатомический стол, как раскладывают руки, ноги, слова, паузы, — и что-то в этой раскладке у Гаврилова не сходится.

— Дед у тебя геолог, — сказал он наконец. — Иван Ильич Ветров, полевые дневники, Байкал, северо-западный берег. Знаю. Фамилию всем скопом знают, Ветров: не каждый день крушение самолёта находит себе такое совпадение, как «выживший, у которого дед всю жизнь рисовал болота, где самолёты не летают».

Он закрыл папку, не торопясь — так закрывают крышку, когда уже заглянули внутрь и всё там увидели. Поднялся, поправил пальто.

— Утром приедет специализированная бригада и перевезёт тебя в Иркутск, в ведомственный центр. Там с тобой поговорят без контузии, по-настоящему, двое суток подряд, пока не останется вопросов. Не выдумывай себе ночью ничего, Ветров: если тебе есть что рассказать — расскажи мне, пока я добрый. Я добрее них.

Лёха не ответил. Гаврилов кивнул сам себе и вышел, и дверь закрылась так же мягко, как открылась: щелчком, который не работает с той стороны.

Лёха остался один. Он опустил взгляд на ладонь, всё это время прикрывавшую шар, и посмотрел на неё — на ссадину, за эти дни затянувшуюся розовой, свежей кожей, как будто её не было. Гаврилов видел её, уходя. Гаврилов видел почти всё: ссадину, чистые руки, то, как Лёха задержался взглядом на печати, — а вот куда это всё складывать, не знал и оставил лежать на столе.

Лёха выключил лампу и лёг, прижимая шар к груди, как прижимают ребёнка, которого отнимают.

Он лежал в темноте и считал варианты. Остаться — значит утром сесть в машину Гаврилова, а в Иркутске — в комнату без окон, где двое суток подряд будут вытягивать из него слова, пока не вытянут всё. Рассказать им про шар — значит отдать шар. Рассказать про деда — значит сдать деда. Рассказать про порт — значит сдать Миру, Хорса, всё, что они ему доверили. Бежать — значит стать беглецом, у которого нет ни документов, ни денег, ни куртки. Но беглец жив. А тот, кто останется, — нет.

Он выбрал не сразу. Он лежал и слушал, как капает кран, как гудит лампа, как где-то в коридоре скрипят кроссовки охранника. И только когда понял, что скрип этот — не случайный, что кто-то ходит туда-сюда у его двери, — он решил.

Утро пришло с капельницей.

Сестра подключила её не глядя, одним движением — три раза в день, одно и то же: игла вошла ровно, почти без боли; рация на поясе затрещала, сестра ушла, не обернувшись. Лёха остался лежать со шлангом к вене и смотреть, как по прозрачной трубке идёт вверх белая взвесь.

Обещанной бригады не было. Дверь в палату весь день открывалась только для сестры и врача, и чем дольше длился день, тем яснее Лёха понимал: его не повезут днем в Иркутск — его заберут иначе. Ночью.

Он провёл день, делая вид, что спит. Считал шаги в коридоре: две пары, три пары, сестринские, с остановками. Считал время по солнцу, которое лепилось в единственное окно. Считал капли в трубке капельницы — и однажды поймал себя на том, что ведёт им счёт ровно по четырнадцать, между ударами пульса, и остановился, вспотев, на середине счёта.

К вечеру он собрал всё, что было нужно: шар — у сердца, под бинтом; дедов журнал — плоско под поясом; да два пластыря, которые сестра, не глядя, наклеила на раму над кроватью, — про запас. Куртку у него забрали, оставили в гардеробе «как вещдок, до выписки», так что на побег у него была только больничная пижама. Впрочем, если к утру его увезут в ведомственный центр, вещи ему и не понадобятся — и именно поэтому он здесь не останется.

Ночь пришла. Лёха не спал.

Он лежал с закрытыми глазами, зажав пальцами трубку капельницы у самого клапана, чтобы лекарство — сонное, сестра сказала «спокойной ночи» с таким лицом, будто желала спокойной ночи на двое суток, — не шло в вену. В палате капал кран, гудела лампа, и Лёха слушал тишину, как слушают чужой код: выискивая место, где она сбивается.

Тишина сбилась за три часа до рассвета.

Сначала не было звука, было его отсутствие: перестал капать кран. Нет, кран капал, перестал шагать охранник. Тот самый, молодой, у двери. Он ходил туда-сюда, скрипел кроссовками, и вдруг его шаги оборвались на полуслове, как оборвались бы, если бы кто-то взял его за горло.

Потом защёлкал замок. Не ключом — тихо, профессионально, отмычкой, которой в этой стороне против таких дверей не существует, если ты знаешь, с какой стороны у этой двери ночь.

Лёха не шевелился. Он лежал, рука на трубке, глаза закрыты, и вёл отсчёт: дверь приоткрылась на полпальца; вошли двое; второй остался у двери, первый пошёл к койке стороной, с той горячей решимостью, с какой ходят к тем, кто должен быть без сознания.

Первый наклонился над койкой. Лёха рванул.

Он дёрнул капельницу на себя: бутылка со звоном отлетела к стене, а игла осталась в вене — кровь хлынула по запястью, и Лёха, не останавливаясь, перекатился через край кровати, уходя с линии удара, на которую стоявший над ним рассчитывал. Второй сделал шаг от двери. Лёха врезался в него плечом — не для удара, для пространства, — и, зацепившись за ручку двери, распорол ладонь, проскочив мимо, спиной к палате, лицом к окну, — и увидел: двое так и стояли, где стояли, и оба смотрели не на него, а на его руки.

На его ладони — уже чистой, розовой, без единой капли, — где полминуты назад выступила кровь и уже втянулась обратно.

Первый оперативник медленно поднял глаза на второго. Ни слова. Только кивок — короткий, в сторону окна. «Уходит», читалось в этом кивке. «И мы не знаем, что это такое.»

Второй бросился, но Лёха уже был за подоконником. Окно было распахнуто — ночью он открыл его, чтобы не искать, чтобы было куда. Внизу, под козырьком служебного входа, белел асфальт. Лёха выдохнул.

Он не прыгал — он соскользнул: подоконник, козырёк, земля. Удар пришёлся на иглу, что торчала в вене, — она вошла глубже, Лёха зашипел, сжал кулак, зажал место двумя пальцами и побежал, не оглядываясь, потому что знал: за спиной, в раскрытом окне, смотрят. Двое. Оба знают, как он выглядит. Оба видели, как его кожа заживает у них на глазах.

За ним не побежали — с этой стороны больничного двора был забор, а за забором — пустая площадь, фонарь да кусты у магазина. Лёха перемахнул забор, пробежал площадь, нырнул в первую арку, как ныряют в воду с высоты, и только там, в мокрой подворотне, прижавшись спиной к кирпичу, позволил себе дышать.

Погони не было.

Это было хуже, чем если бы была.

Через три подворотни и два двора Лёха остановился у закрытого киоска, присел на корточки и вытащил из-под бинта шар — целый, тёплый, на месте. Следом за ним — журнал, тоже целый, запачканный его собственной кровью, с того самого угла, где дед рисовал круг с девятью дугами.

Лёха сидел в темноте, сжимая в одной руке шар, в другой — журнал, и смотрел на кровавое пятно на той самой странице. Кровь ещё не просохла, но уже не липла — как будто что-то в его ладони успевало высыхать вдвое быстрее, чем положено человеку.

— Хватит, — выдохнул он тихо, сам себе. — Я сделал это. И я теперь знаю, чей это груз.

Он поднялся, вытащил иглу из руки — легко, беззвучно, как вынимают занозу, — перетянул запястье тем же бинтом, в котором принёс шар. Криво. Зато накрепко. Спрятал шар, спрятал журнал — и пошёл по тёмному городу, как ходят люди, у которых кончилось всё, кроме одного вопроса.

Утром он пойдёт искать интернет-кафе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.